
Н. КАЛЬМА
БОЛЬШИЕ
ШАГИ


СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК


ТАВАРИЩИ! ОРУЖИЕ
СКЛАДЫВАТЬ НЕ СТАНЕТЕ
НЕМНОГА СИЛ ПОТРАТЬТЕ
НА ЭТОГО – ОДИН УДАР – И
НЕТ ЕГО
РОСТА N 793

Н. КАЛЬМА

БОЛЬШИЕ ШАГИ

Под редакцией Н. Асеева

1966

Средне-Уральское Книжное Издательство • Свердловск



ЧАСТЬ I
БАГДАДИ

Двойное рождение



х, и вырядился же ты, Коция, прямо хоть на свадьбу!

— Ты, Симон, тоже неплох. Кинжал какой нацепил! А чоха[1]! А башлык?! Полюбуйтесь, люди добрые, чем не жених!

— Айт[2], Коция дорогой, сейчас мы крепко сидим в седле, а уж вернемся, видно, поперек седла...

— Да, лесничий умеет угощать. В прошлом году, в день его рождения, я так наугощался, что потом целую неделю видел во сне жареных индеек...

Коция даже облизнулся при этом воспоминании, а Симон невольно заторопил коня.

Всадники ехали по узкой улице кавказского селения. Сейчас же за улицей начинались горы, и от этого казалось, что все селение зажато у гор под мышкой. Дома были отделены друг от друга толщей

[1] Чоха — кафтан с широкими разрезными рукавами.
[2] Айт — восклицаиие.

листьев, как фрукты в корзине. На балконах сушились нанизанные на веревку сливы и груши. За плетнями хозяйки с шумом пересыпали на лотке кукурузу и сзывали кур:

— Джи-джи-джи! Рруу!

Симона и Коцию все знали. Оба они родились здесь, в Багдади, оба служили объездчиками в багдадинском лесничестве, и оба приходились родственниками или кумовьями половине селения.

Их то и дело окликали из-за плетней:

— Эй, соседи, куда собрались?

— К лесничему. Сегодня день его рождения,— отвечал всем Коция.

— Счастливо пировать, дорогие! — говорили тогда им вслед, и довольные объездчики кивали и улыбались соседям.

Был знойный день начала июля. В тени заборов лежали обессилевшие свиньи. Куры дремали в прохладных ямках, вырытых в земле.

Всадники быстро миновали базар, где медник бил молотком по медному тазу, а пекарь ставил в пылающую печь длинный кукурузный чурек; проехали мимо длинного ряда плетеных гиделей [1], приготовленных для винограда, и очутились у красного железного моста, перекинутого через реку Ханис-Цхали. Там, за мостом, у самого подножия горы, стоял дом, в котором жил со своей семьей лесничий. Деревянный, крытый дранкой, с большим балконом, дом этот ничем не отличался от других домов Багдади.

Объездчики подъехали к балкону, слезли с лошадей и привязали их к плетню. Вокруг было тихо и безлюдно. Никто не вышел им навстречу, и ничто в доме не указывало на приготовления к празднеству.

— Что случилось? — спросил Симон, ни к кому не обращаясь. В голосе его была дрожь. Нос его чуял, что в этом доме никто не готовил праздничных блюд и даже очаг не разжигался.

Коция недоуменно глядел по сторонам. Быть может, случилось какое-нибудь несчастье? Чем иначе объяснить это безлюдье?

Под тенью груши сидела маленькая Оля, дочь лесничего, и что-то мастерила из камешков. Коция подхватил ее на руки.

— Где отец? — спросил он по-грузински.

Оля не успела ответить. В окне дома появился сам лесничий, высокий темнобородый человек с размашистыми движениями. Борода его была растрепана, белый китель, наброшенный, видимо, наспех, болтался на широких плечах. Увидев объездчиков, он помахал им рукой.

---

[1] Гидель — корзина для винограда, которую носят на спине.

— Владымере, магилоцвас шени чириме![1] — торжественно начал Коция.— Сегодня день твоего рождения, батоно[2], и мы приехали поздравить тебя.

Лесничий крепко потряс обоим объездчикам руки. Лицо у него было радостное и немного растерянное.

— У меня сегодня двойной праздник,— сказал он, понизив голос и кивая на соседнюю комнату: — У меня сегодня родился сын.

Симон и Коция переглянулись. Значит, все хорошо! Значит, никакого несчастья не случилось! И все-таки Симон был безутешен: пропали шашлыки и поросята, не будет ни вина, ни жареных индеек!.. Сын — это, конечно, хорошо, но хороший праздничный стол — это еще лучше...

Однако он сказал лесничему:

— Поздравляем, батоно, с сыном! Клянусь тобой, твой сын будет большой человек!

Симон не знал, что говорит правду. Он говорил из вежливости и чтобы сделать приятное лесничему, которого любил.

В дверях показалась пожилая женщина со спеленутым ребенком на руках.

— Вот вам в день вашего рождения подарок: еще один Владимир,— сказала она, подавая ребенка лесничему.

Оба объездчика громко сказали по обычаю:

— Новый ребенок в доме — новое счастье в доме.

В этот день календарь в комнате лесничего показывал 7 июля 1893 года. И никто еще не подозревал, что в этот день в маленьком имеретинском селении Багдади родился большой поэт.

В семье

— Володя! Оля! Обедать!

Ответа не было. Только эхо в горах громко повторило последние слоги.

Лесничий вышел из дому.

Куда девались дети? Он заглянул под красный мост, туда, где Ханис-Цхали делала крутой поворот. Скалистые берега реки были мокры, будто на них выступила испарина. Здесь дети любили бросать в воду камни и потом с визгом отскакивали от подымавшегося столба брызг. Но сейчас в прохладной тени моста никого не было.

Лесничий снова позвал:

— Володя! Оля! Где вы?

---

[1] Поздравляем тебя, дорогой!

[2] Батоно — господин.

Над ним раздался шелест раздвигаемых ветвей и сдавленный смех. Он поднял глаза. Из зеленой листвы на склоне горы выглядывали два смеющихся и разгоряченных беготней лица. Одно из них, зеленоглазое и насмешливое, было лицом девочки; другое — загорелое, с большим ртом и твердым подбородком, явно принадлежало мальчику.

— Вот вы где прячетесь, сорванцы! — шутливо закричал на них отец.— А ну, живо сюда!

— Кто первый добежит до папы? Раз, два, три! — скомандовала Оля.

Мелкие камешки посыпались из-под ее ног. Она легко сбежала с горы и со смехом уткнулась головой в отцовский китель. Увидев это, Володя заспешил, споткнулся и вдруг кубарем покатился вниз. Лесничий мгновенно подхватил сына своими большими, сильными руками.

— Ушибся? Больно?

Мальчику было больно, но он почти никогда не плакал. Это знали все домашние. И сейчас он только немножко скривил губы, даже не захныкал.

«Молодец!» — мысленно одобрил лесничий.

Он посадил Володю на плечи, взял за руку Олю и зашагал к дому.

На балконе в ожидании обеда собралась вся семья. Мать уже подала на стол грузинский сыр сулгуни и теплые мчади — лепешки из кукурузы.

— Идите на родник, умойтесь,— укоризненно сказала она, оглядев детей.— Вон у Володи щека глиной вымазана. А ты, Оля, зазеленила все платье...

Все в доме беспрекословно слушались мать. В этой молодой, всегда сдержанной женщине крылась огромная внутренняя сила. Она была дочерью военного и с детства привыкла к частым переездам и случайностям судьбы. Лесничий тоже принужден был по службе кочевать с места на место. И всюду, куда забрасывала их судьба, мать терпеливо, как птица, вила гнездо, учила и воспитывала детей и всегда была одинаково спокойна и ровна.

Она вставала раньше всех в доме, одна управлялась с хозяйством, никогда не суетилась, и все у нее спорилось.

Ей нелегко давалась эта сдержанность: лесничий был горяч и неровен, иногда пустяк выводил его из себя. Дети тоже росли очень разные; в особенности Володя заботил мать. И нужна была сильная воля, чтобы управлять этим большим и пестрым гнездом.

В девушках жена лесничего хорошо рисовала и писала стихи, но теперь только изредка сочиняла она старым подругам шутливые письма в стихах. Да и то прятала их от домашних, словно это была какая-то недопустимая слабость.

Володя с Олей мылись на роднике за домом.

В другое время брат с удовольствием обрызгал бы Олю, налил бы ей полную пригоршню ледяной воды за ворот, но сейчас оба торопились: отец только что вернулся из объезда лесничества — значит, привез кучу рассказов. С балкона доносился его густой, бархатистый бас. Скорей, скорей!.. Володя с Олей побежали, не успев вытереться, и прозрачные капли воды стекали у них по волосам и щекам.

Отец, действительно, рассказывал что-то матери и Люде. Люда, старшая сестра Володи и Оли, училась в тифлисском пансионе и домой приезжала только на каникулы. В Багдади Люда дружила с приезжими студентами, начинала уже носить длинные платья и считала себя взрослой.

Но сейчас, слушая отца, она так же, как младшие брат и сестра, не спускала с него глаз и от волнения даже перестала есть.

— А дальше что? — нетерпеливо спросила она.

— А дальше надвинулась ночь. Кругом так темно, что даже собственной руки не разглядишь. Слева — голые скалы, справа — пропасть. Игнатий мой к таким местам не привык. Тропинка вьется по самому краю. Лошадей пришлось оставить, пошли мы пешком. Я — впереди, Игнатий — за мной. Камни скользят из-под ног, летят в пропасть, и еле слышно, когда они падают на дно. Сначала мы с Игнатием шли и разговаривали, потом он для бодрости песню затянул. Идет, поет: «Когда я на почте служил ямщиком...» Эхо так и рычит. И вдруг оборвалась песня. Я спрашиваю: «Ну, чего ж ты замолчал, Игнат?» Не отвечает. Обернулся, гляжу — нет за мной человека...

— Так и пропал?! — в один голос воскликнули дети.

— Так и пропал,— кивнул отец,— скатился в пропасть.

Потом уж, много дней спустя, нашли его труп...

За столом все были подавлены.

— Недаром я целые ночи не сплю, когда ты в разъездах,— сказала наконец жена.— Мало ли что может случиться: лесной пожар, молния может ударить, недобрый человек может напасть... Хоть бы ты брал с собой оружие.

— Зачем? — лесничий усмехнулся.— Знаешь пословицу: «Волков бояться — в лес не ходить». А оружие таскать я терпеть не могу.

Володя не сводил глаз с отца: вот каким должен быть настоящий мужчина!.. Отец ничего и никого не боится. Часто он спит в лесу, подложив под голову седло. Широкий, шумный, большой, он может одной рукой поднять целый бочонок с вином. Он бурно сердится и бурно веселится. Когда отец в гневе, все кругом дрожат, а когда он весел, то нет человека добрее и ласковее его.

Лесничий уловил взгляд сына и вдруг хитро улыбнулся.

— А Володя опять держит ложку левой рукой! — громко объявил он.

Мальчик, точно ожегшись, выронил ложку из левой руки и поперхнулся.

Володя был левша.

Мать первая заметила, что он норовит брать все левой рукой. Тогда она начала настойчиво перекладывать все предметы в правую руку сына. И добилась своего: Володя ел, рисовал и строгал палки, как все люди. Но все-таки ему было удобнее действовать левой рукой, и он иногда забывался.

— Володя, ты опять за старое!

Володя исподлобья, с обидой поглядел на отца. Он не привык выслушивать от него замечания.

В семье лесничего до рождения Володи умерли два мальчика: совсем крошечный Саша и трехлетний черноглазый Костя. Поэтому отец особенно бережно относился к третьему сыну.

— А сегодня я левой рукой бросал камни дальше, чем Оля правой,— неожиданно с гордостью сказал Володя.

— Нашел чем хвастать! — презрительно кивнула Оля.— Я обеими руками шить могу, а ты ни правой, ни левой не можешь! У, левша!

Назревала ссора. Отец поспешил вмешаться.

— Кончайте обедать да идем на тахту,— сказал он детям.

Ссора была мигом забыта. Дети торопливо дожевывали последние куски. «Идти на тахту» было боевым кличем. На тахте рассказывались самые занимательные истории.

Лесничий долго путешествовал по Кавказу, говорил по-грузински, по-армянски и даже по-татарски, знал множество народных легенд и анекдотов.

Рассказы на тахте

После обеда отец пошел в большую комнату, выходившую на балкон, и лег на тахту, покрытую по-кавказски паласом [1]. Обстановка в доме была самая простая: железные кровати, несколько стульев, комод для белья. Единственным ярким пятном были цветные подушки и мутаки [2] на тахте.

Володя, Оля и Люда примостились тут же, поближе к отцу.

— Надо вам что-нибудь смешное рассказать,— сказал отец,— а то я вижу, вы от моей страшной истории приуныли. Вон Люда уже нос повесила...

[1] Палас — пестрое восточное покрывало.
[2] Мутаки — валики на тахте.

И отец, чтобы развеселить детей, рассказал грузинскую басню о лгуне.

«Жил-был на свете отъявленный лгун, и пользовался он всяким удобным случаем, чтобы соврать.

Однажды лгуна пригласили в гости и попросили что-нибудь рассказать.

— Представьте себе,— начал он,— недавно я видел свеклу, такую большую, что под тенью ее свободно помещались триста человек.

— Что вы говорите?! — вскричали гости.— Такой свеклы не бывает!

Но лгун клялся и божился, что видел свеклу своими глазами.

Тогда один из гостей сказал:

— А я видел недавно котел, изготовлением которого было занято триста человек.

Лгун очень удивился.

— Для чего же понадобился такой огромный котел? — спросил он.

— Для того, чтобы сварить твою свеклу,— отвечал гость».

Черный дрозд

— Вставай, лежебок, вставай! Солнце уже встало, а ты еще в постели...

Одеяло сползло с Володи. В открытое окно доносился ослиный рев и капризное блеяние баранов. Мальчик пытался зарыться в подушки, урвать еще кусочек сна, но отец был неумолим: он тормошил и щекотал его и позвал Олю вместе будить и подымать маленького лентяя.

Было еще совсем рано: белый туман клубился над речкой, и в тени деревьев еще не высохла роса. А в доме лесничего все уже давно были на ногах. Мать хлопотала возле затопленной печи, пахло свежеиспеченными хачапури [1], и на стуле возле Володиной кровати лежал большой, покрытый серебристым пушком персик. Его принес отец, чтобы порадовать сына.

За стеной уже слышалась быстрая и хрипловатая, будто задыхающаяся, грузинская речь.

Это объездчики и крестьяне пришли к лесничему просить разрешения на рубку леса.

Отец вышел к ним.

В полуоткрытую дверь Володе было видно все, что делалось в соседней комнате. Там помещалась канцелярия лесничества: стоял шкаф с деловыми бумагами, и висела длинная полка, на которой были рас-

---

[1] Хачапури — лепешка с сыром.

ставлены стеклянные банки с заспиртованными короедами, вредителями леса.

Сейчас за простым деревянным столом сидел отец. Почти над его головой метался в клетке большой черный дрозд, которого накануне принес детям Коция Джапаридзе. Дрозд бился грудью о железные прутья или забивался в угол и, раскрыв клюв, тяжело дышал. Лесничий то и дело поглядывал на птицу и хмурил густые брови. Он был молчалив и почти не шутил с крестьянами, что с ним редко случалось.

Незнакомый крестьянин в рваной чохе и порыжелом башлыке стоял возле отца и тихо просил о чем-то.

«Наверное, дров бесплатно просит»,— подумал Володя, глядя на жилистые ноги посетителя, высовывающиеся из дырявых каламани[1].

По ответу отца он понял, что угадал верно.

— Мамис мамули ки арарис аршейдзлеба,— сказал по-грузински лесничий,— нельзя, кацо, лес не имение моего отца, я не могу им распоряжаться...

— Гроша медного нет, батоно, а то бы я заплатил,— жаловался крестьянин.— Семья у меня большая, детей много, а пристав с урядником забрали последнюю копейку.

Лесничий все глядел на птицу и хмурился.

— Хорошо,— сказал он крестьянину,— я дам тебе разрешение, а осенью, когда у тебя заведутся деньжонки, ты заплатишь...

— Пусть дом твой цветет, как плодовый сад! — горячо благодарил крестьянин.— Чтобы никакое лихо не коснулось ни тебя, ни твоих детей...

У дверей нетерпеливо переминался с ноги на ногу чернобородый маленький Коция Джапаридзе. Лесничий заметил его нетерпение.

— А ты с чем приехал, Коция? — спросил он объездчика.

— С жалобой, батоно,— сердито сказал Коция.— Опять князья Эристави безобразничают!

— Что еще такое?

— Стоял я на заставе в Нергиетах,— горячо жестикулируя, начал объездчик,— вдруг подскакали ко мне на лошадях князья Эристави, а за ними едут арбы с лесом. Дают они мне разрешение, я поглядел, а разрешение старое. Я им говорю: «Поворачивайте обратно ваши арбы, этот лес я не пропущу». Старший Эристави совсем взбесился: «Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь, проклятый оборванец!» Чуть не пристрелил меня...

Пока Джапаридзе говорил, лесничий медленно краснел. Вдруг он стукнул кулаком по столу:

— Ну, погоди же! Я с ними поговорю! Надо проучить их! Эти мо-

---

[1] Каламани — мягкая кожаная обувь.

лодчики думают, что им все позволено. Титул, видите ли! — И он с сердцем выругал их по-грузински: — Ослоеды!

Коция потихоньку вышел, довольный, что у него такой защитник.

Володя, затаив дыхание, смотрел на отца. Заложив руки в карманы и не замечая сына, лесничий быстро шагал из угла в угол. Губа его была закушена: гнев еще бушевал в нем. Внезапно он остановился перед клеткой. Черный дрозд, обессилев от бесплодной борьбы, забился в угол. Перья его были в крови: он, наверное, поранил грудь о железные прутья. Минуту человек и птица смотрели друг на друга. И вдруг Володя увидал удивительную вещь: осторожно оглянувшись по сторонам, отец открыл дверцу клетки, взял дрозда и на раскрытой ладони поднес к отворенному окну.

Дрозд медлил: он еще не верил человеку. Но спустя мгновение раздался легкий шелест, взмах крыльев — и птица исчезла. Когда отец повернулся от окна, Володя увидел на его лице нежную и хитрую усмешку.

Друзья-животные

— Володя! Скорей! Какое несчастье — дрозд улетел!

Оля с криком ворвалась в комнату и схватила брата за рукав. Ее подвижное, обычно веселое лицо было искривлено жалобной гримасой.

— Что же это такое? — говорила она плачущим голосом.— Вчера я сама дала дрозду пить и заперла клетку, а сегодня прихожу — клетка открыта, и дрозда нет. В прошлом году сокол улетел, недавно щегленок, а теперь — дрозд. Наверное, дверца плохо запирается. Как ты думаешь, Володя?

— Угу,— отвечал Володя, с интересом разглядывая пол.

Оля была его постоянным товарищем во всех играх и шалостях. Живая, крепкая, она ловко лазила по деревьям, метко бросала камни в цель, взбиралась на самые крутые горы и умела плясать лезгинку, как настоящий горец. Все в жизни казалось Оле простым и ясным. Мальчики охотно принимали Олю в свою компанию, и она старалась ни в чем не отставать от них. Володя иногда ссорился с ней, дело доходило чуть не до драки, потому что оба за словом в карман не лезли. Но ему скоро становилось скучно без сестры, и он первый шел мириться.

Сейчас Володя старался не глядеть на ее расстроенное лицо.

— Пойдем в зверинец,— уныло сказала Оля,— поглядим хоть на шакаленка...

«Зверинцем» дети называли своих животных. У них не было почти

никаких игрушек, да они их и не любили. Володе нравились только заводные пароходы и паровозы, но лесничий не часто мог дарить сыну такие дорогие игрушки.

Зато дом лесничего был всегда полон всякими животными, домашними и даже дикими. Объездчики и охотники часто приносили в подарок лесничему пойманных в лесу медвежонка, белку, молодую лису или зайца.

Были в «зверинце» четыре собаки, большой тигровый кот Путя, белая коза с козленком, черепаха, и сюда же дети присчитывали верховую лошадь отца и рыжую корову Марусю.

— Захвати хлеба,— сказала Володе сестра, наливая в горшочек молока для черепахи.

Карманы Володи и без того оттопыривались от лепешек и чуреков, которые он захватил для своих четвероногих друзей.

Едва Володя показался на балконе, к нему пестрым визжащим клубком подкатились собаки. Рыжий Бостон прыгал выше всех и норовил лизнуть мальчика в самый нос; Халиса вертелась под ногами; черный с белым крысолов, по имени Сорока, почуял хлеб и лез носом в Володин карман; пушистый Угрюм изо всех сил стучал по земле хвостом и повизгивал от радости. Собачьи языки щекотали Володе руки, лицо, шею.

— Тубо! Отстаньте, не лижитесь! — отбивался он, но собаки не отставали от своего любимца, и только когда он вынул хлеб, водворилось сравнительное спокойствие.

Собаки подняли уши и устремили глаза на лакомые кусочки, а Халиса от нетерпения начала судорожно зевать и потягиваться. Каждый получил свою порцию, и каждый поступил с ней сообразно своему характеру. Бостон и Угрюм жадно глотали хлеб, отрывая большие куски. Халиса убежала со своим куском подальше и там, не торопясь, в свое удовольствие съела его. Запасливая Сорока долго носила хлеб в зубах, ища, куда бы его спрятать. Наконец, нашла укромный уголок за курятником, вырыла лапами ямку и закопала свою порцию.

Володя, смеясь, показал Оле:

— Запасает, только не для себя, а для Халисы. Та все ее запасы разыщет...

Сорока, оскалив зубы, зарычала на Халису. Хитрая Халиса всегда ухитрялась пронюхать, куда прячет крысолов свои сокровища.

У изгороди тоненькая вертлявая коза с черным козленком щипала куст бузины и вороватo косила глазами на детей. Накануне козленок наелся в горах «пьяной» травы. Его начало пучить, он с трудом держался на ногах. Дети встревожились. Тогда пришел Коция Джапаридзе, дал выпить козленку какого-то травяного отвара, и тот оправился.

Козленок ткнулся лбом в Володину руку. Маленькие рожки уже пробивались у него сквозь завитки шерсти. Володя и Оля погладили его и заглянули в черепаший садок. Черепаха водила по сторонам темной старушечьей головкой, глаза ее блестели, она как будто чего-то ждала.

— Вот тебе, питайся, старуха,— сказал ей Володя, выливая в блюдце принесенное молоко.

И черепаха, широко отставляя серые пупырчатые лапы, направилась к блюдечку.

Большой пестрый индюк подошел к детям, взволнованно заговорил о чем-то. Володя засвистел — индюк напыжился и начал непомерно раздуваться. Гребень у него покраснел, он вдруг стал похож на того важного и глупого инспектора, который как-то приезжал к леснччему. Оля сразу поймала это сходство.

— Посмотри, как он похож на инспектора! Ой, не могу! — захохотала она.— До чего похож!..

И вдруг смех ее оборвался, и стало слышно, как лопочет рассерженный индюк. Володя с удивлением оглянулся на сестру. Глаза Оли были устремлены на инжирное дерево, стоявшее посреди открытой полянки.

— А где... где шакаленок? — растерянно проговорила она.

На толстом суку инжира болтался обрывок веревки. Шакаленка не было.

— Да что же это такое? — со слезами в голосе воскликнула Оля.— Как он мог отвязаться? Ведь веревка была такая крепкая!..

Володя молчал. Он понял теперь, почему так недолго гостили в их «зверинце» вольные обитатели лесов, почему открывались, будто сами собой, их клетки и обрывались самые крепкие веревки. Он вспомнил шакаленка, дикого, испуганного и тощего, которого несколько дней тому назад принес им знакомый охотник. Шакаленок не хотел ничего есть, метался на привязи так, что веревка до крови натерла ему шею, и тоскливо выл по ночам. Нет, ни за что на свете Володя не выдал бы отца. Пусть это останется их тайной — тайной двух мужчин, которые не хотят держать в неволе свободных животных!

«Узник»

— Не мешайте мне, я буду учить стихи,— сказала Люда.

Они сидели все трое на зеленом пригорке возле дома. Кругом было пустынно и тихо. Вечерело. Коровы возвращались домой, и за рекой хозяйки звали их тонкими певучими голосами:

— Диидо! Диидо! Камена!

Четыре собаки расположились кружком и как будто стерегли детей. Оля лениво жевала большую желтую грушу. Володя сорвал несколько ромашек и заставлял их сражаться до тех пор, пока только у самой толстой из них осталась голова на плечах. Люда лежала на траве, подперев руками подбородок, и монотонно бормотала себе под нос:

— ...И вымолвить хочет: «Давай улетим!.. Давай улетим!.. Давай улетим!..»

— А длинное это стихотворение? — спросила Оля.

— Длинное. Отстань! — огрызнулась Люда.

Перед ней на траве лежала книга. Нужная страница была заложена веткой шиповника.

Сегодня утром, проснувшись, Люда вдруг испугалась. Скоро начинаются занятия в пансионате, а она и не подумала заглянуть в учебники. Осталось так мало времени, а нужно еще столько написать и выучить! И Люда в тот же день принялась за зубрежку.

— Люда, а ты и завтра будешь учиться? — опять не вытерпела Оля.

— И завтра, и послезавтра, и всегда,— сердито сказала Люда.— Ну вот, опять ты меня сбила!

Оля притихла и принялась исподтишка разглядывать старшую сестру.

Люда была рослая, в отца, с темными пушистыми волосами и твердым ртом. От отца она унаследовала широкую походку и громкий голос, от матери — спокойное упорство. У нее находили способности к рисованию, и она мечтала стать художницей. После ее приездов в Багдади у Володи и Оли оставалась целая коллекция картинок, нарисованных старшей сестрой: виды селения, пароходы, паровозы, животные. К малышам Люда относилась покровительственно. Впрочем, это не мешало ей охотно рассказывать брату и сестре о жизни в пансионате.

Володя и Оля знали по именам всех Людиных подруг; знали, что надзирательницы шпионят за пансионерками и роются в их вещах; что за большие провинности девочек запирают в классе, а за малые — оставляют без обеда, ставят к доске. Пансион представлялся им тюрьмой, в которой жестокие надзирательницы мучают детей. Стоило отцу сказать: «Володя, ты опять шалишь? Смотри, отдам я тебя в пансион!» — и Володя тотчас же затихал. А Оля со страхом ждала, что и ее через год-два пошлют учиться в это суровое заведение.

Вот и сейчас, вспомнив об этом, Оля невольно ухватилась за руку Люды.

— Ты что? — спросила старшая сестра, отрываясь от книги.

— Так... ничего,— пробормотала Оля.— Ты... ты какие стихи учишь? — спросила она, чтобы что-нибудь сказать.

— Ох, как ты мне надоела! Учу стихотворение Пушкина, называется «Узник»,— нетерпеливо отвечала Люда.

Володя бросил жука, которого заставлял бегать вверх и вниз по руке, и повернулся к сестре.

— «Узник»? — переспросил он.— Что это такое? О чем?

— О человеке, который в тюрьме сидит, и об орле,— скороговоркой сказала Люда.

— Прочти,— велел Володя.— Прочти вслух.

Прочесть? Стихи успели уж надоесть Люде. Но малыши были такими внимательными и благодарными слушателями! Старшая сестра притворно нахмурилась, сказала:

— Ну, так и быть, слушайте,— и начала:

Сижу за решеткой, в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!»

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»

Последние строчки Люда прочла «с выражением», устремив взгляд на вершины гор и невольно подражая актрисе, которую видела в тифлисском театре.

— Ой, Люда, как ты смешно таращишь глаза, когда читаешь! — сказала, фыркнув, Оля.— Правда, Володя?

Но Володя не отвечал. Он сидел сосредоточенный, нахмурив лоб.

— Тебе нравятся стихи? — спросила Люда.

— Нет... да...— невнятно отвечал он, отворачиваясь.

— Да ты что? Что с тобой? — спрашивала старшая сестра, удивляясь его сдавленному голосу.

Она взяла Володю за плечи и повернула лицом к себе.

— Знаешь, что я придумала: выучи какие-нибудь хорошие стихи и прочти их на папины именины. Это будет твой подарок папе. Хочешь?

Володя не отвечал.

— Я тебе найду стихи Лермонтова или Пушкина,— продолжала, воодушевляясь, Люда.— Ну, говори, хочешь учить стихи?

— Хочу,— отрывисто сказал Володя и вдруг, сорвавшись с места, бросился бежать. Его маленькая фигурка мелькнула на пригорке и исчезла за деревьями зеленого сельского кладбища...

Люда удивленно покачала головой.

Но она удивилась бы еще больше, увидев своего маленького брата, который лежал за кладбищем, уткнув горящее лицо в высокие пахучие травы.

Именины

Это был праздник, к которому вся семья готовилась задолго. На этот день приходились именины обоих Владимиров: отца и сына.

С утра на балконе был накрыт большой стол, и мать с девочками хлопотала над приготовлением всевозможных грузинских и русских кушаний. Оля вихрем носилась от очага к балкону и обратно. Ее русые волосы растрепались, щеки были припудрены мукой.

Володя в новой матроске нетерпеливо слонялся вокруг стола: когда же, наконец, начнется самое торжественное?

Все, казалось, было готово. Золотистая индейка раскинулась посреди стола, вытянув ноги в бумажных манжетах. Шашлык, сочный, чуть пахнущий дымком, горой лежал на блюде, оправленный в кольцо помидоров, лука и петрушки. Свежо зеленели кандари и цицматы — пахучие травы, приправы к мясу. А лобио [1] с грецкими орехами, а сыр, а вареные куры с кислой подливкой из алычи! У каждого, кто глядел на стол, заранее щипало в носу, и язык начинал гореть от предвкушения красного перца.

Толстые темные бутылки, похожие на кегли, теснились между блюдами. В них было прохладное виноградное вино, такое легкое, что его давали даже детям.

Отдельно стояли сласти: чурчхелла [2], похожая на диковинные стручки; жирная и сладкая баклава, которую мать научилась печь, когда жила с мужем в Эривани; густое темно-оранжевое инжирное варенье; орехи в меду...

Но разве полон праздничный стол на Кавказе, если нет на нем фруктов?

И мать с девочками принесла блюда и просто плетеные тростниковые корзинки, в которых лежали пушистые и розовые, как только что родившиеся поросята, персики; длинные сливы, покрытые нежным синеватым налетом; груши, готовые брызнуть соком, едва возьмешь их в руку.

Люда с Будой Туркия украшали стол цветами. Буда, подруга Люды по пансиону, застенчивая и тихая, выбирала из целой охапки

[1] Лобио — бобы.
[2] Чурчхелла — восточные сладости.

цветов толстые махровые цинии и делала из них гирлянду: ей хотелось повесить цветы на стулья именинников.

Люда рассеянно перебирала длинные стебли. Она была чем-то озабочена. Завидев Володю, она схватила его за рукав:

— Не забыл? Не наврешь?

— Помню...— отвечал, морщась и вырывая руку, Володя.

— Не собьешься?

— Нет...— дергал плечом Володя.

Люда отошла, как будто успокоенная, но немного погодя подруга заметила, что она сунула в свой букет зелень петрушки, а нежную чайную розу положила на блюдо шашлыка.

— Да что с тобой? Чем у тебя голова занята? — смеялась Буда.

Собрались гости. Из Кутаиси приехала на линейке сестра отца, тетя Анюта, пришли живущие в Багдади землемеры, приехал приятель лесничего, кутаисский агроном, явился знакомый Люды, долговязый студент Боря Глушковский. На балконе сразу стало шумно, задвигали стульями. Лесничий, в ослепительно белом кителе, оживленный и радушный, крепко пожимал всем руки и каждому говорил что-нибудь шутливо-приветливое. Скоро за большим столом не осталось ни одного незанятого места. Детей посадили вместе, как раз против отца с матерью.

Председателем пира — тулумбашем — выбрали кутаисского агронома. Всем налили вина, даже Володе дали маленькую рюмочку.

— Первый тост я предлагаю за хозяйку дома,— торжественно сказал тулумбаш,— так полагается у нас на Кавказе.

Мать встала и чокнулась со всеми гостями по очереди. Володя заметил, что она надела новое платье, а щеки у нее были розовые от беготни и стряпни. Она показалась Володе самой красивой за столом.

— А теперь мы выпьем за здоровье обоих именинников,— снова объявил тулумбаш и произнес длинную речь, в которой говорилось, какой замечательный человек лесничий и какой необыкновенный человек должен вырасти из его сына Володи.

Со всех сторон раздались приветственные восклицания. Тулумбаш запел грузинскую застольную песню:

Сегодня не зря собрались мы за этим столом:
Владимиру песню заздравную дружно поем,
Стаканы свои мы наполним веселым вином
И выпьем за тех, кто пирует за нашим столом!

Все живо подхватили песню, и в прозрачном воздухе она далеко разнеслась по Багдади. Потом пели «Мравалжамиер», потом лесничий своим рокочущим басом запел украинскую «Ой вы, хлопцы-баламуты». Голос его был слышен даже на другом берегу Ханис-Цхали, и

восьмидесятилетний Симон Тодадзе вышел из дому, приставил ладонь к уху и сказал внукам:

— Лесничий поет так, что даже мои старые уши начинают слышать, как молодые.

Люда беспокойно ерзала на стуле, почти ничего не ела. Наконец, она улучила удобный момент, подошла к отцу и зашептала ему на ухо.

— Володя, поди сюда,— громко позвал отец.

Стараясь ни на кого не смотреть, Володя вылез из-за стола. Гости выжидательно улыбались. Отец легонько взял Володю за плечи и выдвинул вперед.

— Вот мой сын, наследник пустых имений, сейчас прочтет вам стихи,— весело сказал он.— Выучил нарочно для моих именин.

— Садись возле меня,— сказал Володе тулумбаш и очистил ему самое почетное место во главе стола.

Наступило молчание.

Мальчик отыскал глазами Люду: старшая сестра сидела вся красная от волнения за своего ученика.

— Начинай! — телеграфировала она ему.

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою
Был великий спор,—

начал Володя высоким, немножко не своим голосом.

— А заглавие? — закричала Люда со своего места.— Куда ты девал заглавие?

— «Спор», стихотворение Лермонтова,— объявил Володя и продолжал, не смутившись, окриком сестры:

«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат: —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!»

Люда невольно шевелила губами, суфлируя. Но брат не глядел на нее, уверенный, что не собьется. Володя был разгорячен, ему нравилось, что на него смотрят, его слушают. Когда он кончил, со всех сторон раздались дружные аплодисменты.

— Молодец! Замечательная память! — говорили гости, хлопая Володю по плечу.

Отец молча крепко поцеловал его.

— Твой сын далеко пойдет,— сказал лесничему тулумбаш, наливая всем вино.

— Он уже далеко пошел,— смеясь и хитро подмигивая сыну,

отвечал лесничий.— Недавно отличился... Поехали мы компанией в Гелаты осматривать монастырь. Входим в главный храм, собираемся смотреть фрески, а там служба идет. Священник по-грузински монотонно так читает: «Мамиса, дадзиса, сулиса...» Володя и давай ему вторить во весь голос: «Крутися, крутися, колесо, чтобы наше дело пошло хорошо...»

Гости захохотали. Володя покраснел и сердито посмотрел на отца.

— Ну и что же вы с ним сделали? — спросил, утирая слезы от смеха, тулумбаш.

— Пробовали его уговорить — не действует,— продолжал отец,— пришлось вывести из церкви. Хотели намылить ему голову, да уж очень смешно всем было. Даже наша богомолка,— он кивнул в сторону тети Анюты,— и та хохотала...

— Я пришлю тебе из Кутаиси интересную книжку,— сказал Володе тулумбаш.— А теперь, дорогие, предлагаю выпить за самого младшего в этом доме — за Володю.

И все гости протянули стаканы к мальчику, а он серьезно и важно чокался со всеми своей маленькой рюмочкой.

Первая книга

Тулумбаш не забыл своего обещания. В первый же раз, когда лесничий приехал в Кутаис, он передал ему для сына книжку с картинками. Книжка называлась «Птичница Агафья».

На первой странице была нарисована большая церковь и женщина, погоняющая хворостиной целое стадо уток.

Володя с новой книжкой побежал отыскивать мать. Он нашел ее за домом. Сидя в тени под ореховым деревом, она лущила кукурузу. Очищенные кукурузные зерна блестящей желтой горкой лежали перед ней на разостланном паласе.

— Мама, мне книжку подарили. Почитайте,— попросил он, садясь возле нее и приготовляясь слушать. Ведь она всегда так охотно читала ему вслух!

Однако на этот раз мать покачала головой.

— Нет,— сказала она,— довольно я читала тебе, теперь ты должен сам читать. Выучишься — узнаешь, о чем написано в этой книжке и в других.

— Но, мама...

Он насильно всунул ей книгу в руки.

— Нет, нет!

Володя попробовал настаивать, даже сердиться, даже хныкать — все было напрасно. Мать, когда хотела, могла быть непреклонной.

Он ушел, затаив обиду. Долго бродил один по берегу Ханис-Цхали, ища, чем бы заняться. Ни лепить из глины, ни бросать камешки не хотелось. Новая книга жгла ему руки. Наконец, решившись, он вернулся в дом и отыскал Люду.

— Показывай, что ли,— сказал он хмуро.

— Что показывать? — не поняла Люда.

— Покажи, как читают,— нехотя объяснил брат.

От лампы-молнии во все стороны разбегались лучи. Отец с Людой разложили на столе газеты и журнал «Родина» в серо-зеленой обложке. В крупных буквах заголовков сын должен был отыскивать знакомые и составлять из них слова. Володя запоминал быстро, у него была отличная память. Он торопился, ему не терпелось поскорей приняться за новую книжку.

Наконец, наступил день, когда он уже довольно бегло прочел отцу какую-то телеграмму из газеты, в которой говорилось, что в Париже готовится грандиозная выставка.

— Ну, теперь ты будешь моим постоянным чтецом,— сказал, смеясь, отец.— Я уж чувствую, ты меня разоришь на книжки.

В эту ночь Володя много раз просыпался. Ему казалось, что он никогда не дождется утра.

Он поднялся раньше всех в доме. Стараясь не скрипеть ящиком, вынул из материнского комода «Птичницу Агафью», набил карманы только что поспевшими абрикосами и на цыпочках выбрался в сад.

В глухом, укромном местечке среди кустов ежевики Володя улегся на траву и развернул книгу. От нее пахло типографской краской, переплет был картонный, полосатый — желтый с белым — и плохо разгибался. Страницы в книге были из толстой глянцевитой бумаги, и каждая буква в начале главы была разукрашена листьями и цветами.

В книжке рассказывалось о старой птичнице, которая работала у необыкновенно доброй графини, и о графининой внучке Фофочке, тоже необыкновенно прекрасной и великодушной.

«— Маленькая графиньюшка сами как ранняя пташка,— читал про себя, слегка запинаясь, Володя: — Чуть утро, они уж тут... И ведь все-то им надо знать. Все их забавляет: и покормят птиц и воды попить дадут...»

Мальчик с недоумением перелистал книжку. С картинок на него глядела завитая и расфуфыренная кукла, которую звали Фофочкой.

Кукла стояла окруженная толстыми ватными курами, совсем не похожими на тех кур, которых видел вокруг себя Володя.

Да что же это такое? Может, он не так прочел? Может, он ошибся: ведь он так недавно начал читать?! Никогда еще не приходилось ему встречаться с такой книжкой. Мать, когда читала ему вслух, всегда выбирала что-нибудь увлекательное. А это?.. Нет, он, конечно, ошибся!

Но знакомые буквы глядели на него со страниц «Птичницы Агафьи» и складывались в слащавые слова:

«— Вы посмотрите, бабушка, что это за курочка! Другой такой в мире нет! Снежинка! Душка! Прелесть моя! — восторгалась девочка, делая ручкой горделивой курице, которая степенно проходила мимо гостей с такими же белыми, как сама, цыплятами...»

Чем дальше читал Володя, тем обиднее ему становилось. Неужели он учился читать только для того, чтобы прочесть об этой глупой кукле Фофочке?!

Наконец, он с сердцем захлопнул «Птичницу Агафью» и сунул ее в колючий куст ежевики.

— Если еще такая книжка попадется, брошу читать совсем,— сказал он с негодованием и, словно отплевываясь от прочитанного, выплюнул абрикосовую косточку.

Клад в крепости

Семья лесничего переехала на новую квартиру. Немного в стороне от селения, на холме стояла старинная крепость. По преданию, она была выстроена много веков тому назад турками, захватившими в свои руки Имеретинское царство. А когда имеретинский народ поднялся против захватчиков, турки принуждены были отсиживаться в этой крепости.

Крепость в Багдади называлась «цихе», и теперь от нее оставался только земляной четырехугольный вал на вершине холма.

Внутри вала был двор с ореховыми и фруктовыми деревьями и дом с двумя балконами. В этом доме и поселился лесничий со своей семьей.

От крепости шел крутой спуск к реке, через которую был перекинут узкий бревенчатый мостик. В базарные дни мостик танцевал и прогибался под ногами прохожих, сновавших туда и обратно. Крестьяне из ближних селений несли на продажу в Багдади виноград, вино, сыр, красный редис. До селения было с полкилометра, к нему вела прямая каменистая дорога.

Володе сразу понравилось новое жилье. С балконов открывался широкий вид на снежные горы и ущелья. Старые стены крепости густо заросли плющом, в углах были накаты для пушек, а в валах проделаны бойницы. За стенами шел ров, заросший ежевикой и шиповником. Здесь можно было отлично играть в разные приключения и в войну. Во рву водились змеи, но Володя их не боялся.

— Мы будем охотиться на змей,— сказал он Оле, обегав все закоулки крепости.— А если на нас нападут враги, мы запремся,

выставив ружья в бойницы, и нас никто не сможет победить. Посмотри, какие здесь крепкие ворота...

И он начал со скрипом затворять старые деревянные ворота, с которых свисал плющ.

— Да кто же станет на нас нападать? — с недоумением спросила Оля, любившая во всем ясность.— Здесь кругом все свои, знакомые.

— Ну, а если нападут? — настаивал Володя.— Понимаешь, выходим мы утром на балкон и видим: стоят под горой солдаты в золотых мундирах, а впереди на черной лошади командир. Командир велит солдатам взять нашу крепость, и они с саблями наголо...

Оля перебила его.

— Солдаты не носят золотых мундиров,— сказала она уверенно,— солдаты ходят в серых шинелях.

— Это не наши солдаты, а иностранные! — Володя упрямо сжал губы.

— Все равно! Никакие солдаты не носят золотых мундиров,— твердила Оля,— я знаю.

— Ну и знай себе на здоровье! — вспыхнул вдруг брат.— Тебе рассказывать — все равно что корове цветы показывать.

Оля обиделась.

— И не рассказывай, пожалуйста! —сердито сказала она.— Кому нужны твои небылицы?! Сидишь, как филин, молчишь, глазами ворочаешь, а потом начинаешь разную чепуху молоть...

Брат с сестрой готовы были всерьез поссориться. В этот момент послышался голос отца:

— Скорей сюда! Интересная находка!

Дети бросились к дому.

Отец стоял на балконе и разговаривал с двумя грузинами. Один был хозяин дома — виноторговец, другой — рабочий, нанятый хозяином копать ямы для глиняных кувшинов, в которых хранилось вино.

— Посмотрите, что они нашли в земле,— сказал отец, что-то подавая детям на раскрытой ладони.

— Монеты! — в один голос воскликнули Володя и Оля.— Откуда они?

Это были, действительно, три небольшие серебряные монеты, потемневшие от долгого пребывания в земле. Рабочий нашел их, роя канаву, почти у самого дома. Он показал детям место, где они лежали.

Володя тщательно оттер монеты мелом, и на них теперь можно было разглядеть полумесяц и незнакомые письмена.

— Это очень старинные турецкие монеты,— сказал отец.— Некогда турки владели Кутаисом и всеми крепостями близ него. Наверное, какой-нибудь воин зарыл здесь свои деньги.

Клад!

У Володи заблестели глаза. Он вполголоса сказал сестре:

— Когса даци всеса уйци дутса, мыци, стаса немци коса патьци дальса шеци.

Оля взволнованно закивала. Это был их собственный конспиративный язык, который Володя изобрел, чтобы говорить с сестрой при посторонних. К русским словам, разбитым на слоги, он прибавлял грузинские окончания «са» и «ци». На обыкновенном языке это должно было означать: «Когда все уйдут, мы станем копать дальше».

Володя едва мог скрыть свое возбуждение и со страшным нетерпением ждал, чтобы все разошлись.

Наконец, тучная фигура Гвеселиани скрылась в доме. Отец и рабочий отправились в селение.

Оля быстро схватила брата за руку:

— Принести лопаты?

Найденные в земле монеты раззадорили и ее. Но Володя сказал серьезно:

— Нет, погоди! Надо сначала все обдумать.

Он долго ходил один вдоль стен крепости. Обследовал канаву, в которой найдены были монеты, нашел уступ, засыпанный землей и покрытый мхом. Решил, что именно здесь зарыт турецкий клад.

Поздно ночью, когда все уже спали, он прокрался к Оле и при свете месяца показал ей бумажку, на которой чернели какие-то линии и кружочки.

— Что это? — спросила Оля, у которой слипались глаза.

— План,— сказал брат,— я сам его нарисовал. Здесь, на этом месте, лежит сундук с золотом и драгоценными камнями.

Он был так уверен, как будто сам зарыл в крепости этот сундук.

К раскопкам приступили со следующего дня.

На рассвете, когда туман еще лежал в долине, двое заговорщиков крались к засыпанному землей уступу. В руках у каждого было по лопате, унесенной из сарая Гвеселиани.

Земля была каменистая и тугая. Копать было трудно, и на лицах брата и сестры выступили крупные капли пота. Но Володя копал без отдыха, упрямо сжав губы, с каким-то ожесточением.

— Я устала,— жалобно простонала Оля,— и потом тут ничего нет. Мне попадаются только корни.

Володя поднял разгоряченное лицо.

— Иди! — зло сказал он.— Можешь не возвращаться. Я хотел побратски разделить с тобой клад, а теперь ничего тебе не дам. Ты просто кислятина.

Оля хотела сказать что-нибудь такое же обидное, но в это мгновение земля под ее ногами с легким шумом поползла вниз.

— Смотри,— исступленно закричал Володя,— подземелье!

Оля в страхе отпрянула назад. Круглая воронка чернела теперь на месте той ямы, которую они раскопали.

— Веревку! — скомандовал Володя.— Я спущусь в подземелье, а ты жди с веревкой наверху. Если я крикну, ты меня вытащишь.

Он притащил из дома толстую веревку, привязал к ней камень и измерил глубину воронки. Она была не очень глубока, так что можно было без большого риска просто спрыгнуть вниз.

Володя так и сделал. Голова его исчезла в яме. До Оли донесся его чуть приглушенный землей голос:

— Бросай сюда лопаты и спускайся сама. Я помогу тебе.

— А что там? — спросила Оля, нагнувшись.

— Наверное, подземный ход. Скорей спускайся, будем копать дальше.

Когда Оля спустилась в подземелье, ей показалось, что это просто старая яма для хранения вина. Но Володя был так взволнован, что она побоялась его насмешек и ничего не сказала.

Раскопки продолжались три дня.

На третье утро, когда, перепачканная землей, усталая и злая, Оля совсем уже собралась вылезать из ямы, лопата Володи ударилась обо что-то твердое. Раздался звон металла. Володя тяжело задышал и взглянул на Олю:

— Ты слышала?

Оля кинулась к нему и принялась разгребать землю руками. Володя молча помогал ей. Наконец, руки их нащупали какой-то небольшой, но тяжелый предмет. Володя очистил налипшую на него землю.

— О...— протянула Оля,— подкова! Самая обыкновенная лошадиная подкова. Вот тебе твой турецкий клад! — И она с насмешкой взглянула на брата.

— Ничего,— упрямо сказал Володя,— я нашел подкову, а Коция говорит, что подковы приносят счастье.— И он бережно завернул подкову в носовой платок.

Патара Володиа

Большие жернова вертелись, сотрясая всю старую мельницу. В щель между половицами была видна бушующая вода. Желтая кукурузная мука непрерывной струйкой стекала в резной деревянный ларь. От воды, от жерновов стоял такой шум, что, разговаривая, приходилось изо всех сил кричать.

Мельница стояла под горой, у крепости, и Володя повадился ходить туда чуть не каждый день. Ему нравилось смотреть на зеленое от старости колесо, на вспененную воду, на жернова, которые кружились, толкались и терлись друг о друга.

На мельнице жил мельник Давид, такой же старый и замшелый, как мельничное колесо. Казалось, что Давид так и родился вместе с мельницей. Его брови, волосы, борода были всегда изжелта-белы — от старости или от муки, никто не знал этого, наверное.

Володя любил смотреть, как он снует внутри мельницы бесшумно и быстро, словно челнок в машине: подсыпает кукурузу, очищает лари, сметает муку. А старый Давид привык к посещениям мальчика, осторожно трогал его белым пальцем и бормотал:

— Гамарджоба, патара Володиа! Здравствуй, маленький Володя!

Сквозь шум воды доносятся голоса. Это пришли крестьяне из Дими. Усталые, истомленные жарой, они сбрасывают с плеч тяжелые мешки кукурузы и, пока зерно под жерновами превращается в желтую муку, садятся на берегу реки, под чинарой и ведут длинные разговоры о своих крестьянских делах.

Самый старший среди них — Алио Санидзе. У него сухие щеки, обросшие колючей щетиной. На голове он носит выгоревший, пыльный башлык.

Володя знает Алио: он часто приходит к отцу просить работы.

— Хотел нынче осенью отправить сына в город учиться в духовную семинарию, да вот второй год не могу собрать денег, — говорит Алио.

— А что это такое духовная семинария? — вмешивается вдруг Володя. — Чему там учат?

Крестьяне с изумлением глядят на смуглого мальчугана, примостившегося возле них на камне. У мальчика — темные, серьезные глаза под часто сдвигающимися бровями.

— Это сынок лесничего! — кричит, высунувшись из мельницы, Давид. — Умный, как отец.

Алио затягивается из своей короткой черной трубочки.

— Духовная семинария? — говорит он. — Ты хочешь знать, патара, чему там учат? Честное слово, дорогой, здесь этого никто не знает! Ведь мы неученые.

— Серые, патара, серые! — кричит курчавый оружейник Ладо. — Нас и помещик серыми ишаками зовет. А слыхали вы, друзья, что у старого Сандро забрали корову? Корова случайно забежала на помещичье поле...

Алио прикладывает руку к глазам: легкое облачко пыли поднялось над дорогой по ту сторону реки. Кто-то едет.

У реки всадник спешивается и пускает коня отыскивать брод, а сам идет через мост к мельнице.

— А, да это молодой Датико! — говорит Алио.— Он на прошлой неделе сватался к дочери Ираклия Сванидзе, а тот вынес ему из сеней старую уздечку: убирайся, мол, туда, откуда явился, голоштанный.

Датико — худой, оборванный и, несмотря на это, очень веселый парень. Он отнес Давиду на мельницу совсем маленький мешочек зерна, пустил лошадь пастись на берегу, а сам пришел под чинару.

— Не желаете ли, батоно, сыграть в кончинку? — спрашивает он Алио, как самого старшего.

Кончинка — любимая карточная игра на Кавказе.

— А ты уж и карты привез заодно с зерном? — смеется Алио.

Датико вместо ответа подмигивает и вытаскивает из кармана колоду карт.

Крестьяне теснее усаживаются в кружок.

— А ты, патара, будешь играть? — обращается Алио к Володе.

Володя блестящими глазами смотрит на карты.

— Буду,— отрывисто говорит он.

Володя азартен. Он с раннего детства любит шашки, лото, карты. Играет он сосредоточенно. Больше всего его обижает, если партнер недостаточно серьезно относится к игре. Но здесь, на мельнице, этого можно было не бояться: крестьяне любили кончинку так же, как и он.

И веселая же была эта игра! Проигравший должен был либо пролезть под брюхом лошади, либо проскакать по-лягушачьи до мельницы и обратно.

Датико ужасно не везло. Он то и дело лазил под свою лошадь. Крестьяне кричали, хохотали, подзадоривали Датико, хлопали друг друга по коленкам. Среди всего этого шума один только Володя оставался серьезным и продолжал сдавать карты, как будто делал какое-то важное и нужное дело.

Вдруг он заметил, что Датико потихоньку сунул карту в карман черкески. Володя вспыхнул: он не терпел никакого плутовства. Молча раздал он все карты играющим, потом, все так же молча, положил свои карты и отошел в сторону.

— Володя, тебе ходить! — закричали ему игроки.— Куда ты, Володя?

— Я не играю с обманщиками,— сказал Володя.— Спросите Датико, куда он спрятал козырь.

Датико засмеялся. Но Володя не шутил. Подбородок у него дрожал.

— Я не играю с обманщиками,— повторил он и, повернувшись, направился к дому.

Чури

Было самое рабочее время. Все население Багдади ушло на виноградники.

Сады глухо заросли вьющейся зеленью, и сквозь просвечивающие листья всюду чернели спелые, тяжелые грозди. По пыльным дорогам к селению тянулись скрипучие арбы. В дорожной пыли валялись измятые колесами виноградины.

Ревели нагруженные виноградом ослы.

На некоторых дворах уже начали давить виноград. Воздух был пропитан запахом чапры[1].

Во дворе крепости давно стояли глубокие деревянные чаны и два небольших пресса. Красные, забрызганные соком корыта виднелись под навесами.

Володя с такими же липкими руками и ртом, как у всех, бегал то на виноградники, то к прессам и чанам. Ему все было интересно.

В виноградниках возились и щебетали, как птицы, девушки. Самый лучший виноград снимали ровно в полдень, чтобы он сохранил в себе солнечное тепло, чтобы вино получилось душистое и сладкое.

Повсюду были разбросаны виноградные жмыхи. Свиньи их сжирали и после валялись в канавах, закатив глаза и разбросав ноги, как беспардонные пьяницы.

Опьяневшие куры описывали по двору бессмысленные круги.

Аробщики с криком вываливали содержимое своих арб в огромные чаны, и молодые парни, вымыв начисто ноги, начинали прыгать и плясать внутри чанов, пока не выдавится из винограда мутное сладкое сусло, которое, перебродив, станет вином. Чтобы легче было прыгать, они подпевали бойкую «Чайраму»:

Цукала, чайрама,
Чайрама, цукала.
Пятки горят,
Ноги целы.
Жми виноград
Черный и белый.
Чайрама, цукала,
Цукала, чайрама.

Пот крупными каплями стекал по лицам давильщиков. Володя дивился им: загорелые, оборванные, они плясали в чанах до изнеможения и все-таки не разучились смеяться.

— Эй, мальчик! — кричали они Володе. — Иди попляши с нами, мы тебя живо обучим...

[1] Чапра — перебродивший сок винограда.

Ногами давили виноград только для простого, грубого вина. Самые тонкие, сладкие вина приготовлялись из того сока, который вытекал из винограда сам по себе. В сусло для вкуса и запаха клали мелко размолотые виноградные косточки, даже самые веточки, на которых держится гроздь. Это было сложное искусство.

Во дворе крепости рядами лежали приготовленные и высушенные бочки для вина и огромные глиняные кувшины — чури. Гвеселиани наполнял чури молодым вином и зарывал их в землю, засунув в горло кувшина тростниковую трубочку, чтобы воздух проникал в вино. Проходило несколько недель, хозяин вынимал тростинку и плотно закупоривал чури. Теперь вино в земле набирало крепость и аромат, и только в праздник хозяин вырывал чури и нацеживал гостям бархатистую жидкость.

Володе вдруг пришло в голову залезть в пустой чури, положенный на дворе для просушки.

В огромном кувшине, несмотря на жару, было прохладно. В круглое горло был виден кусок дома с балконом. На балконе стояла Оля, растерянно глядя по сторонам: куда девался брат, который только что был возле?

Володя засмеялся, и весь кувшин вдруг смешливо загудел, как будто какой-то великан начал веселиться.

— Оля! Ау! Ищи меня! — закричал Володя, и чури снова наполнился звуками.

Оля сбежала с балкона.

— Вот ты где спрятался! Чури тебя выдал!..

— Нет, ты послушай, как здорово выходит! — возбужденно сказал Володя, высунув голову из кувшина.— Отойди подальше и слушай.

Оля отошла в сторону. Неожиданно из чури раздались стихи:

Был суров король дон Педро,
Трепетал его народ,
А придворные дрожали —
Только усом поведет.

Из темной пасти кувшина голос Володи доносился как будто из рупора. Особенно раскатисто получалась буква «р»: «Был сурррров коррроль дон Педррро...»

— Очень здорово! На рычание похоже,— сказала смеясь Оля.

— Хорошо? — спросил Володя, выглядывая из кувшина.

— Хорошо! Совсем как в кутаисском театре, когда я была с папой...

Володя был очень доволен. Он прочел еще несколько стихов на

память, стараясь декламировать «с выражением». Ему очень нравился собственный голос, казалось, что он похож на голос отца: такой же раскатистый и басовитый.

Зато какое же разочарование выразилось на его лице, когда он вылез из чури и оказалось, что у него самый обыкновенный мальчишеский голос, даже с петушиными нотками!

— Нет,— сказал он сестре,— стихи буду читать только в чури и важное говорить тоже только в чури.

Дон-Кихот

Володя с недоумевающим лицом сидел у стола в комнате матери.

— Пиши,— терпеливо говорила мать.— Одному мальчику дали две груши, другому — десять. Тот, у которого было две груши, отнял у товарища пять груш. Вопрос: сколько стало у него груш и сколько осталось у его товарища?

Володя вздохнул:

— Зачем считать, мама? Пускай оба мальчика пойдут и нарвут себе груш, сколько им хочется.

В окно заглядывало инжирное дерево, полное плодов. Всем своим видом оно будто говорило: «Правда, зачем считать фрукты? Иди и рви сколько угодно. Ведь на Кавказе так много фруктов!»

Чуть не в десятый раз мать принялась объяснять Володе, что это задача по арифметике. Арифметику же нужно знать, чтобы поступить в гимназию.

В семье лесничего с некоторых пор начались разговоры о том, что Володе пора готовиться к гимназии, что для этого нужно переезжать в город, что довольно мальчику бегать без дела. Володю пугали строгими экзаменами.

Арифметика казалась ему неправдоподобной. Приходилось рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Володе же всегда давали, и сам он давал без счета.

Зато читал он теперь с увлечением, даже с какой-то жадностью. После злополучной «Птичницы Агафьи» он долгое время не прикасался ни к одной книге: был убежден, что все они окажутся такими же глупыми и никчемными.

Но однажды мать принесла ему книгу в цветной обложке, на которой был изображен длинный человек с медным тазом на голове, сидящий верхом на тощей, костистой лошади.

— Кто это? — спросил Володя.

— Дон-Кихот,— сказала мать,— странствующий рыцарь. Ну что же, будешь читать о нем?

— Буду,— сказал Володя.

История ламанчского рыцаря, который всю свою жизнь боролся за справедливость, защищал слабых и был благороден даже в самых смешных положениях, поразила Володю.

— Вот это книга! — восторженно сказал он Оле после первых же страниц.

Поднявшись рано утром, он набивал карманы хлебом и какими-нибудь фруктами, брал «Дон-Кихота» и отправлялся в сад. Кругом усаживались собаки: Угрюм, Бостон и Халиса. Как только Володя раскрывал книгу, Халиса тотчас же свертывалась клубочком, всем своим видом показывая, что собирается хорошенько выспаться. Она знала, что молодой хозяин будет читать очень долго, пожалуй, до вечера.

Самые любимые главы о том, как Дон-Кихот спасает от побоев мальчика или стоит «на страже оружия», Володя перечитывал по нескольку раз.

Ему во что бы то ни стало захотелось иметь рыцарские доспехи. Он смастерил себе длинный деревянный меч с толстой выгнутой рукояткой. Два куска картона с нарисованной синей змеей служили латами. Из петушиного хвоста Володя выдернул несколько блестящих зеленоватых перьев, и склеенный из толстой бумаги шлем украсился пышным султаном. Володя выбежал во двор и отыскал сестру.

— Мы отправляемся путешествовать,— сказал он ей, показывая свои доспехи.— Я буду Дон-Кихотом, а ты моим оруженосцем Санчо Пансой.

— Я не могу быть оруженосцем,— сказала Оля,— я девочка.

— Хорошо, ты будешь Клавдией, дочерью Симона Сильного,— с нетерпением сказал Володя.— Ты убьешь своего жениха, убежишь и попадешь к разбойникам, а я буду тебя спасать.

— Нет, пусть уж лучше я буду оруженосцем,— сказала Оля,— я не хочу убивать никакого жениха.

— Тогда садись верхом на этого осла и поезжай за мной,— командовал брат.— Вон, видишь, там стоит целый караван купцов. Сейчас я буду с ними сражаться.

Он вынул из-за пояса меч и начал им угрожающе размахивать. Петушиные перья на шлеме развевались по ветру, глаза Володи блестели, он предвкушал замечательную игру.

— Да какой же это осел, это просто скамейка! — разочарованно сказала Оля.— А кого ты называешь купцами? Вон те толстые колючки?

Володя с такой силой ударил мечом по ближайшему кусту, что меч переломился надвое.

— Правда,— сказал он скучным голосом,— это обыкновенная скамейка и просто колючки. Я ошибся.

С тех пор в Дон-Кихота Володя играл один.

Весной

Весна в Багдади наступала рано. В первых числах марта начинали зеленеть остроконечные Рачинские горы. По склонам бродили, выискивая свежую траву, маленькие серые буйволята. Черешни и персики в розовых цветах были разряжены, как девочки на именинах.

Для Володи начиналось замечательное время.

Володя сильно вырос. Черты лица его определились: широкий лоб, карие, исподлобья глядящие глаза, крутой подбородок. У него была размашистая, как у отца, походка, большие, длинные руки и ноги. Он становился все более нетерпеливым, непоседливым, упорным.

Утром мать видела, как он выходит из дому, пересекает балкон, влезает на толстое ореховое дерево,— лицо решительное, лоб нахмурен.

Дерево казалось ему кораблем с грот-мачтой и фок-мачтой; спускаться приходилось по вантам, то есть по веревкам от качелей.

Спустившись, Володя забегал домой: нужны припасы для команды— сыр, чурек, сушеные сливы. Он пускался в путешествие по необитаемым островам.

Но перед уходом нужно вооружиться. Мало ли что может встретиться в пути: пираты, индейцы, леопарды, да, наконец, просто медведи! В кармане у него бренчали старые патроны отца. Толстая суковатая палка изображала ружье.

В одно мартовское утро приехал Коция Джапаридзе с запиской от отца.

«Познакомился с путешественником,— писал лесничий жене,— ему негде остановиться. Приготовь, пожалуйста, ужин и ночлег».

Путешественник, которого привез с собой к вечеру отец, оказался архитектором из Москвы. Это был кругленький веселый человек в шерстяных чулках, коротких зеленых штанах и такой же куртке. За плечами на ремне у него висели мешок и фотографический аппарат.

— Ого, у вас неплохое жилье! — сказал он, оглядываясь кругом.— Этой крепости лет триста, если не больше.

И он, даже не присев, отправился осматривать старые стены. Володя ходил за ним по пятам. Ведь этот человек приехал из России, из той самой России, которая представлялась Володе необыкновенной, почти сказочной страной! Из России приходили журналы и книги. О России, о Москве рассказывал отец. И все, что он рассказывал, было так удивительно и так непохоже на Кавказ!

Володя показал архитектору ров, опоясывающий крепость, и спросил дрогнувшим голосом:

— Архитектор — это кто дома строит?

— Вот именно,— сказал архитектор.

— А у вас в Москве большие дома?

— Большие,— сказал архитектор,— есть в четыре и даже в пять этажей.— И, заметив недоумение мальчика, прибавил: — Ну, понимаешь, если два таких дома, как ваш, поставить рядом да на них водрузить еще два, получится средней величины четырехэтажный дом.

Володя слушал, устремив на архитектора неподвижные серьезные глаза.

— Расскажите про Москву,— потребовал он.

— Изволь, дружище! — Архитектор сел на камень и достал из кожаного портсигара папиросу.— Что ж тебе рассказать такого, чего ты не знаешь? Ну вот, например, в Москве дома освещаются не керосином, как здесь, а электричеством...

— Знаю. Видел на заводе Накашидзе в Нергиетах,— нетерпеливо перебил его Володя.— Еще что?

— Еще начинают строить электрический трамвай. Потом, говорят, что скоро у нас будет синематограф.

— Как? Си-не-ма-то-граф? — повторил Володя.— Это что такое?

— Фотография, которая двигается,— попробовал объяснить архитектор.— Я в Париже видел целые картины, есть очень смешные...

И архитектор стал подробно рассказывать, какие картины он видел в синематографе.

— Володя, зови нашего гостя ужинать! — прокричал из дома отец.

Володя нехотя пробормотал приглашение: ему еще столько надо было выспросить!

Но гость, словно угадав его желание, продолжал и за ужином рассказывать о Москве, о московских улицах и театрах, о знаменитых актерах.

И все время, пока архитектор рассказывал, он чувствовал на себе жадный и напряженный взгляд с того конца стола, где сидел сын лесничего.

На Север!

Было уже совсем темно. В черном воздухе стремительно пролетали светляки, как будто золотая нитка продергивалась сквозь черную материю.

Отец, стоя на ступеньке балкона, протянул руку в темноту:

— Вон там, на севере, Россия.

Володя проследил глазами направление руки.

На рассвете, пока все еще спали, он выскользнул из дома. У самого крыльца его встретил тихим, восторженным повизгиванием Угрюм.

— Пойдешь со мной? — спросил его Володя, и Угрюм утвердительно замахал хвостом.

Они отправились вверх по реке, все на север, по песку, на котором отпечатались шакальи следы, продираясь сквозь густые заросли ежевики и орешника. Чем дальше продвигались они на север, тем все больше сближались горы. Молодые листья шевелились на дубах, тропинка поползла вверх, и Угрюм оглянулся на хозяина.

«Подыматься?» — спросили его глаза.

— Да! — отвечал ему Володя.

Они шли долго вверх, из-под их ног катились камни. Володя тяжело дышал, и собака давно высунула мокрый розовый язык.

И вот, наконец, навстречу им подул холодный ветер, показалась открытая площадка, дубы остались позади. Вершина!

Володя с жадностью поглядел кругом. Ему хотелось все запомнить, ничего не упустить. Эта гора, его гора, была самой высокой. Макушки других, соседних гор, лежали ниже: казалось, он может их погладить.

Глубоко внизу, как стадо барашков на выгоне, лежало какое-то селение. А там, где земля сходилась с небом, синели неведомые леса. Далеко на севере между горами был разрыв.

— Там Россия,— сказал Володя вслух.

Угрюм поднял уши и тоже устремил глаза на север, как будто понял.

Володя засмеялся, потом вздохнул. Он растянулся на траве так, чтобы ему были видны эти ворота между горами. От травы пахло мятой, облака на небе таяли быстро, как лимонное мороженое, которым угощал его отец.

Володя чувствовал какое-то беспокойство. Может быть, он хочет мороженого? Или настоящее ружье? Или живую лошадь? Но даже эти вещи, о которых он так мечтал в другое время, сейчас показались ему ненужными. Беспокойство кипело в нем все сильнее.

Высоко над его головой незнакомые птицы протяжно перекликались между собой. Угрюм с азартом разрывал лапами чью-то нору и, погрузив нос во влажную землю, храпел и фыркал от удовольствия.

— Угрюм,— сказал Володя громко,— я хочу путешествовать, я хочу много-много видеть. Я хочу видеть всю Россию, весь мир.

И Угрюм изо всей силы чихнул. В знак согласия.



ЧАСТЬ II
КУТАИС

Жильцы большого дома

Новость принесла Цаца. Растрепанная маленькая девочка с измазанными щеками знала всегда все раньше других. За день ее проворные босые ноги успевали обегать все закоулки Гегутской улицы. Она знала, сколько котят родилось у хетерениевской рыжей Катании, куда и зачем ушла жена толстого брандмайора и с каким вареньем пекут нынче пончики в кондитерской Мунджиева — с инжирным или персиковым.

— Удивительно развитая девочка, — говорил о Цаце ее отец, портной Андриадзе.

Когда запыхавшаяся Цаца пронеслась по двору, всем тотчас же стало известно, что в Большой дом переехали новые жильцы.

— У них дети — мальчик и девочка и еще старшая сестра, — захлебывалась Цаца, — а мебели совсем мало, а «сам» — такой большой, с бородой и в мундире.

— В мундире — значит, офицер или чиновник; стало быть, с нами водиться не станут, — сказал портной.

Он говорил так по опыту. Прежние жильцы Большого дома не желали иметь ничего общего с окружающей беднотой.

Собственно говоря, Большой дом был большим только в представлении семьи Андриадзе и других соседей. На самом деле в глубине двора стоял совсем небольшой, одноэтажный домик. Но он был построен из красного с белым кирпича, и его изгородь выходила на Гегутскую улицу. Поэтому среди окружающих его деревянных домишек с узорчатыми балкончиками и крохотными палисадниками дом казался очень внушительным.

У крыльца вытянулись, как часовые, два темно-зеленых кипариса. В саду росли груша, инжир и несколько кустов шиповника. Вымощенная камнем дорожка вела от крыльца к калитке. Все выглядело чисто и чинно в Большом доме.

Когда из гимназии пришли Коля и Ефрем, Цаца одним духом выложила им свою новость. Ей казалось, что мальчики должны сейчас же бежать смотреть новых жильцов. Но оба гимназиста — брат и его друг — сделали равнодушные лица, а брат сказал:

— Эй ты, сорока, сустинео суум[1] штаны, а то потеряешь...

Коля Андриадзе намеревался стать медиком и всюду, кстати и некстати, вставлял латинские слова.

Цаца обиженно скривила рот:

— Никогда больше не стану рассказывать вам ничего интересного...

— Ну, ну, не хнычь! — примирительно сказал Ефрем.— Так ты говоришь, у них мальчик и девочка?

— Девочка в гимназическом, с косами, а мальчик в белой рубашке. Они в сад пошли, я видела,— с увлечением докладывала Цаца, обрадованная, что у нее нашелся слушатель.

Гимназистка! Ефрем покраснел. Он начинал интересоваться девочками, писал в альбом гимназисткам стихи, и в классе его дразнили «Мурочкой» и «ухажором». В доме Андриадзе Ефрем жил, как родной, хотя был только товарищем и одноклассником Коли.

Ефрем подмигнул другу, и оба мальчика незаметно выскользнули во двор.

Прямо перед ними была каменная стена Большого дома. Стояла весна, и на инжире, там, за стеной, распустились первые листья, ярко-зеленые и лапчатые.

---

[1] Поддержи свои (по-латыни).

Гимназисты поглядели на стену, потом друг на друга. Цаце удалось-таки пробудить в них любопытство. К тому же на Гегутскую улицу не каждый день приезжали новые жильцы...

Мускулистый Коля подпрыгнул и, подтянувшись на руках, легко взобрался на стену. Ефрем, более слабый, дожидался, пока товарищ подаст ему руку. Вот они оба уже наверху. Окна в Большом доме были открыты, и оттуда доносились голоса и звуки передвигаемой мебели. Ефрем осторожно перенес в чужой сад свои длинные ноги и огляделся. Вдруг глаза его встретились с чьими-то озорными глазами, глядевшими на него из-за листьев инжира.

Незнакомый мальчик в белой рубашке сидел на дереве и оттуда, как с вышки, наблюдал за гимназистами. У мальчика были темные волосы, широкий лоб и большой рот. Он казался значительно моложе обоих приятелей.

При виде взъерошенных гимназистов мальчик затрясся от смеха, и вместе с ним затряслись и засмеялись на инжире все молодые листья.

— Эй, мелюзга, ты чего на нас вылупился? — сказал Коля и, чтоб хоть чем-нибудь поддержать достоинство третьеклассников, прибавил:— Стультус ариетис! — что по-латыни означает: «Глупый баран».

Мальчик, не отвечая, закричал кому-то внизу:

— Оля, Оля, погляди, какие у нас на заборе огородные пугала торчат!

Ефрем побагровел. Внизу на крыльце дома стояла высокая девочка в коричневом гимназическом платье.

От смущения Ефрем даже не успел разглядеть, какое у нее лицо. Он услышал только насмешливый голос девочки:

— Инжир еще не поспел, груши тоже... Приходите осенью, мы вас поставим в саду птиц пугать.

Коля уже давно был внизу, по ту сторону стены, а Ефрем все не мог справиться с ногами. Длинные ноги цеплялись за стену и никак не хотели вынести своего хозяина из чужого сада. Ефрем готов был провалиться сквозь землю от конфуза. А мальчик с девочкой продолжали смеяться, свистеть и кричать что-то обидное. Наконец, Ефрему удалось переправить ноги, и он, как мешок с картофелем, тяжело свалился на Колю и вездесущую Цацу. Коля отпихнул приятеля. Он был очень зол.

— И дернуло же нас лезть! — сказал он свирепо.— Вот теперь сели в калошу и зонтиком накрылись! Мальчишка какой вредный! Жжется, как пипер-перец... Да кто он такой? Как его зовут? — обратился он к сестре.

Цаца поспешила выложить все, что знала:

— Его зовут Володя. Он недавно поступил в гимназию. У него новая форма. Он болел брюшным тифом. Он объелся черешнями...

— Ну, поехала! Теперь до вечера не кончит,— нетерпеливо перебил ее брат— Квоускве тандем абутере патиентиа ностра? Доколе же ты будешь испытывать наше терпение? — торжественно произнес он и, очень довольный собой, щелкнул Цацу по носу.

В новом городе

— Цивис-цхали! Цивис-цхали! Холодная вода!

По улице ехал с бочкой унылый водовоз — тулухчи. Арба тряслась по каменистой мостовой, и из бочки расплескивалась рионская вода. Вода была такая мутная, что кутаисские хозяйки отстаивали ее квасцами.

Город изнывал от жары. Все шторы, все ставни в домах были закрыты. Казалось, что улица не могла вынести ослепительного блеска солнца и прикрыла глаза ладонями. Блестел белый мост, блестели дома, блестела белая от зноя дорога. К железным решеткам садов нельзя было прикоснуться: они обжигали руку. В маленьких садиках пыльные олеандры и глицинии поникли от жары. Люди попрятались, и даже собак не было видно: высунув длинные розовые языки, они лежали где-нибудь в тенистом месте, тяжело поводя боками и вздрагивая от дурных снов. Дома Кутаиса с вырезными балкончиками и галерейками лепились по краю котловины. На дне котловины скакал бурый, весь в клочьях пены, Рион. Горячий восточный ветер подымал на улицах пыльные смерчи.

И все-таки Кутаис понравился Володе. Ведь это был город, настоящий город с магазинами, вокзалом, улицами! И Володе, который никогда не бывал в настоящих больших городах, Кутаис казался шумным и оживленным.

Семья переехала в город, потому что Володе надо было поступать в гимназию. Лесничему обещали место в Кутаисском лесничестве, но пока он оставался в Багдади и в город приезжал только по субботам. Люда училась в Тифлисе. Жизнь семьи раскололась на три дома, и это было очень тяжело. Жалованья лесничего часто не хватало, и отец с матерью изо всех сил старались свести концы с концами.

Оставшись один в Багдади, отец очень грустил. В каждом письме он писал о своем одиночестве.

— Что делать, надо терпеть ради Володечки,— говорил он жене при редких встречах.

К Володе теперь ходила учительница. Ее звали Юлия Феликсовна, но Володя называл ее в шутку «Карл Иванович». Они только что прочли вместе «Детство» Льва Толстого, и Володя уверял, что учительница похожа на доброго немца-гувернера, которого описал Толстой.

«Карл Иванович», немолодая, с добрым круглым лицом, держалась с Володей, как со взрослым. Это ему нравилось, он учился охотнее, но в нем все еще кипел неугомонный бродяжнический дух. И, покончив с уроками, мальчик отправлялся странствовать по городу.

Центр Кутаиса — старый тенистый бульвар. Как на медленной карусели, вокруг бульвара кружатся затянутые в черкески грузины, офицеры, разодетые барышни.

У военного госпиталя стоит длинноносый городовой в сапогах с низкими рыжими голенищами. А вон проехал в пролетке начальник пожарной команды с толстыми усами и глазами навыкате. И городовой и начальник успели уже примелькаться Володе. Он уже знал до малейших подробностей их лица и одежду. Он мог бы, например, закрыв глаза, описать Мунджиева, владельца кондитерской, родинку на его плотной бритой щеке и пожелтевшие от табачного дыма усы, растущие как будто прямо из ноздрей.

— Что вам угодно, молодой человек? — пронзительным голосом говорил Мунджиев, перегнувшись через прилавок.— Не желаете ли свежие пончики?

У городского сада, перед лимонадным заводом Лагидзе, шипели, разливая мертвенный лиловатый свет, первые газовые фонари. За столиками прямо на тротуаре сидели люди, и у всех были неживые лиловатые лица.

На краю города был вокзал. Оттуда доносились высокие, беспокойные крики паровозов, и туда чаще всего ходил Володя. Ему нравилось толкаться среди пассажиров и носильщиков: в сутолоке прощания и отъезда казалось, будто и сам он едет куда-то.

Около вокзала, в депо, ремонтировали паровозы. Это были совсем дряхлые, отживающие свой паровозный век инвалиды, но Володе они казались великолепными, мощными машинами. Он потихоньку пробирался в депо и стоял там, любуясь паровозами, забывая о времени.

Его смущало только, что кругом все выглядело сонным и запущенным. А ему хотелось шума, движения, кипучей работы.

Он похудел, вытянулся, стал еще более самостоятельным, бегал на Рион купаться, свел дружбу с солдатами Куринского полка, которые жили в соседних казармах.

— Эге, брат, да ты, я вижу, совсем взрослый стал в городе! — сказал ему отец, приехавший из Багдади.— Вид у тебя серьезнейший.

Володя промолчал. Ему и самому начинало казаться, что тот мальчик, который искал турецкий клад в Багдади, был его младшим братом.

Экзамен

У самого Риона стояло серое здание с длинными сводчатыми коридорами и галереями, откуда открывался вид на реку.

В старину это был дворец имеретинских царей. Прежде он был окопан рвами и обнесен стеной, которая спускалась прямо в воду Риона. Потом дворец перестроили почти заново, и теперь в нем помещалась Кутаисская мужская гимназия.

Посреди гимназического двора стояла исполинская чинара. Чинаре было около пятисот лет, под тенью ее в знойный день могла спрятаться вся гимназия, и сквозь толщу ее листьев никогда не проникал дождь.

Старики рассказывали, что последний имеретинский царь, Соломон, судил своих подданных под этой чинарой и вешал осужденных на могучих ветвях старого дерева.

Весной 1902 года мать привела на гимназический двор одетого в новенькую матроску Володю.

Он сумрачно глядел по сторонам. По двору с визгом носились мальчики. Одни гоняли мяч, другие играли в чехарду, третьи дрались гимназическими поясами с большими медными пряжками. Стоял невообразимый шум, каждый старался перекричать соседа.

У Володи слегка кружилась голова, он старался понять, что кричат мальчики, но ловил только отдельные грузинские, армянские и русские слова.

Тонко и неровно прозвучал звонок. Двор разом опустел.

— Идем, пора,— сказала мать, зачем-то поправляя кофточку.

В светлой учительской вокруг стола, покрытого зеленым сукном, сидели экзаменаторы: подтянутый и сухой директор Осип Осипович Чебиш, узколицый, с тонким, будто принюхивающимся к чему-то носом, учитель русского языка Юркевский и шумный священник Тугаринов. Священник рассеянно перекрестил экзаменующегося и сунул ему под нос пухлую руку. Володя поднял на него глаза.

— Ну же, целуй батюшке руку,— сказал нетерпеливо директор.

Володя весь сморщился (он был ужасно брезглив), но руку послушно поцеловал.

— Ну-с, молодой человек, просклоняйте нам местоимение «я»,— скрипучим голосом велел Юркевский.

— Я, меня, мне, меня, мной, обо мне,— заторопился Володя.

— Хорошо,— сказал Чебиш,— это ты знаешь.— В отличие от других преподавателей он говорил ученикам «ты».— Теперь скажи мне таблицу умножения.

Володя сказал. Чебиш задал ему несколько вопросов по арифметике, потом повернулся к священнику:

— Теперь спрашивайте вы, батюшка.

Тугаринов зашуршал шелковой рясой, зевнул, перекрестил рот. Протянув толстый палец, он дотронулся до золотого якоря на Володином рукаве.

— А ну, скажите нам, юноша, что означает по церковному канону сей якорь? — спросил он жирным голосом.

Только накануне отец объяснил Володе, что якорь означает надежду. Он так и сказал священнику. Тот осклабился и закивал:

— Отлично, отлично. Ну, а теперь, юноша, скажите нам, что такое «око»?

— Око? Три фунта,— с готовностью отвечал Володя.

Но тут батюшка зашелестел и заколыхался на своем стуле, и даже сдержанный Чебиш не мог удержаться от улыбки. Володя вспыхнул.

— Чего вы смеетесь?! Я дело говорю: «око» — по-грузински три фунта,— сказал он почти грубо.

«Провалился!» — мелькнула у него мысль.

— Ох, господи, какой сердитый! — простонал батюшка, давясь от смеха.

— Мы с вами, молодой человек, не на грузинском базаре, а в русской классической гимназии,— отчеканивая каждое слово, сказал Юркевский.— Ведь вы русский?

— Русский,— ответил Володя, не понимая, что означает вопрос. «Провалился, провалился»,— испуганно твердил он про себя.

— Тогда вам более пристало изучать церковнославянский, русский и европейские языки, чем какой-то базарный грузинский,— отрезал Юркевский.

Володя с удивлением глядел на узкое бледное лицо учителя. Тот перегнулся через стол и, видимо, ждал ответа.

— У нас дома все умеют говорить по-грузински,— как будто оправдываясь, сказал Володя: — И папа и сестры... И потом все наши друзья — грузины...

— Вот как?! — Юркевский стиснул руки— Все друзья — грузины? Интересно...

— Мы очень отвлеклись от нашего экзамена,— вмешался директор, стараясь не глядеть на Юркевского.— Батюшка, прошу вас, объясните новому ученику, что такое «око».

И Тугаринов принялся любезно объяснять мальчику, что по-древнецерковнославянски «око» означает глаз.

Чем дальше он объяснял, тем скучнее становилось Володе. Ему сразу показалось нудным все древнее, все церковное и все славянское.

К счастью, батюшка торопился на богатые поминки. Он прервал свои объяснения на половине.

— Я думаю, можно все-таки его принять, несмотря на «три фунта»,— сказал директор, обращаясь к учителям.

Ни священник, ни Юркевский не возражали. И в старший приготовительный класс Кутаисской гимназии был зачислен новый ученик.

Новичок в классе

— Братцы! Новенький! — кричал Аполлон Месхи, скользя по навощенному коридору и налетая на встречных.

— Где? Где новенький? — зашумели гимназисты.

— В классе. Его директор привел...

У двери класса дежурный Саша Нгенти отбивался от окружавшей его толпы:

— Нельзя в класс. «Хапо» не велел никого пускать.

— Пусти, Сашка,— напирали гимназисты,— покажи новенького.

Дверь затрещала, и вся толпа с шумом ввалилась в класс.

У черной классной доски одиноко стоял высокий мальчик в шитых на рост брюках и совсем новенькой гимназической куртке. Мальчик рассеянно чертил что-то на доске. Услышав шум за спиной, он обернулся и, слегка насупив брови, взглянул на окруживших его гимназистов.

— Как твоя фамилия, кацо? — первым спросил Аполлон Месхи.

Новичок сказал.

— Маяк! Маяк! — загалдели гимназисты.— И сам длинный, как маяк...

— Ты у нас в классе будешь учиться?

— А с кем ты сядешь, Маяк?

— Ты русский, Маяк, или имеретин?

— Отчего у тебя карман отдувается?

Володя, отныне прозванный «Маяком», еле успевал отвечать на все эти вопросы.

Большинство мальчиков в классе были грузины или имеретины. Русских было совсем немного, всего человек пять. Вокруг Володя слышал грузинскую речь, и отовсюду торчали курчавые черные головы.

Кто-то смазал его пятерней по физиономии, кто-то сильно толкнул в спину. Володя покраснел:

— Ах, так вы драться?

Он сгреб двух первых попавшихся мальчишек и стиснул их так, что они запищали. Жизнь в горах укрепила его мускулы, он был сильнее многих городских детей.

— Пусти, Маяк, пусти же, черт! — просили мальчишки, пыхтя и вырываясь.

Он разжал руки, потом поглядел кругом:

— Ну, кто еще хочет драться?

Никто не отзывался. Володя усмехнулся:

— А кто хочет чурчхеллы?

Снова никто не ответил: подозревали подвох.

Володя полез в карман и вытащил оттуда две великолепные чурчхеллы с грецкими орехами. Он помахал ими перед гимназистами:

— Из Багдади отец привез.

— Дай кусочек, Маяк. Угости, новичок,— несмело раздались голоса.

Володя принялся делить чурчхеллы. Это было нелегко: ломкие, они крошились в руках.

— Ná, режь,— протягивая новичку свой перочинный ножик, сказал Аполлон Месхи.

Володя с интересом поглядел на него. У Аполлона было широкое, слегка рябоватое лицо с большими добрыми глазами. Он был сыном бедного имеретинского крестьянина и жил у одного из надзирателей. В классе Аполлон считался первым учеником.

Новенький понравился Аполлону.

«Драчун, а все-таки добрый,— подумал он.— Сначала с кулаками полез, а сейчас вон всех угощает».

И он сказал:

— Хочешь, сядем вместе? Рядом со мной есть свободное место.

Володя еще раз поглядел в широкое, открытое лицо Аполлона и кивнул.

— Рисовать умеешь? — спросил он.

Аполлон отрицательно покачал головой.

— Нет,— отвечал он,— в деревне мне некогда было рисовать.

Володя потащил его к доске.

— Гляди,— сказал он Аполлону,— вот я сейчас нарисую тебе козу... индюка... дом...

И в то время, как он говорил, мелок в его руке так и летал по доске. Сначала появилась коза с рогами, потом надувшийся индюк, потом Аполлон увидел дом с балконом и пышное дерево, наклонившееся над крышей.

— О, да ты художник! — воскликнул он удивленно.

— Нет еще,— сказал Володя,— но я им буду.

На пустыре

Позади большого дома и дома Андриадзе был широкий луг, поросший низкой, будто стриженой, травой и одуванчиками. Когда-то на этом месте был фруктовый сад, от которого осталось только несколько инжирных и ореховых деревьев.

На краю луга стоял маленький домик шапочника Чарекишвили. Чарекишвили считал, что луг и деревья принадлежат ему и его семье, но ребята Гегутской улицы были другого мнения. Они были уверены, что луг, или пустырь,— их неотъемлемое владение.

Все свободное время ребята проводили на этом пустыре. На низкой траве было удобно играть в лапту и городки, бегать в горелки и пятнашки. Старые ореховые деревья с толстыми ветвями были словно нарочно приспособлены для лазанья. Под тенью инжира собирались самые азартные игроки в орлянку и кончинку. Здесь, на лугу, велись самые задушевные разговоры и происходили самые серьезные драки.

Шапочник Чарекишвили вел с захватчиками постоянную войну. Маленький, усатый, похожий на черного таракана, он выбегал из дому и визгливо кричал:

— Убирайтесь из моего сада! Не смейте портить мои деревья! Погодите, вот я расправлюсь с вами, саранча поганая!

Ребята с хохотом разбегались в разные стороны, но едва Чарекишвили захлопывал за собой дверь, все снова возвращались к прерванным играм.

В этот день, как обычно, на пустыре собрались все завсегдатаи: Коля и Цаца Андриадзе, Ефрем, Енук Хетерени, Жоржик, двоюродный брат Коли, и другие ребята.

Цаца с подругой открыли кондитерскую и стряпали самые настоящие песочные пирожки из самого настоящего песка.

Под тенью инжира восседал Енук Хетерени и сам с собой играл в орлянку. Он подкидывал в воздух медный пятак и бормотал:

— Решка! Фу, черт, не везет, ошибся! Орел...

Енук был удивительный мальчик. Во-первых, он был самым сильным из ребят Гегутской улицы. Небольшого роста, с широкими плечами и короткой толстой шеей, Енук больше всего напоминал медведя. Во-вторых, Енук был страстным игроком. Он играл со всеми: с ребятами на улице, с солдатами на Рионе, с мушами [1] на базаре. Если не находил партнеров, играл, как сейчас, сам с собой.

К нему подошел Ефрем:

— Енук, дай я загадаю...

[1] Муша — носильщик.

Енук замотал головой:

— Я с тобой не играю. Ты мне с прошлой пятницы три копейки не отдал...

Ефрем хотел что-то возразить, но в это мгновение Цаца дернула его за рукав.

— Гляди, гляди, кто идет,— зашептала она.

Ефрем быстро обернулся. Со стороны Большого дома шли уже знакомые ему мальчик в белой рубашке и гимназистка.

При виде новеньких на пустыре все пришло в движение. Девочки бросили пирожки и принялись с криком гоняться друг за другом. Коля Андриадзе полез на дерево и стал раскачиваться на тоненькой ветке, показывая, что ему нисколько не страшно. Ефрем прислонился к стволу, нахмурил брови и принялся ерошить волосы: ему казалось, что это придает ему загадочный и поэтический вид. Один Енук ни на кого не обращал внимания и продолжал подкидывать пятак:

— Орел! Выиграл! Нет, ошибся — решка...

Новый мальчик подошел к Енуку и стал с интересом наблюдать за его игрой.

— Орел! — сказал он, когда монета взлетела кверху, и вышел, действительно, орел.

— Решка! — крикнул он спустя минуту и снова оказался прав.

— Не лезь! — свирепо сказал Енук, который загадал как раз наоборот.— Не лезь, когда не спрашивают!

— Давай сыграем,— предложил новенький.

— С мелюзгой не играю,— пробурчал Енук, не глядя на мальчика.

— Не хочешь — не надо, а жаль, я бы научил тебя, как надо играть по-настоящему,— спокойно сказал мальчик.

Енук повертел в руках пятак, потом внимательно глянул на новенького. Мальчик был моложе всех собравшихся на пустыре.

«Наверное, приготовишка»,— пренебрежительно подумал Енук. Но в лице и манерах новенького было что-то спокойное и решительное, и это невольно заставляло забывать о его возрасте.

— Садись,— будто нехотя пробурчал Енук.

— Володя, ты опять! — с упреком сказала гимназистка.— Я вот маме скажу...

Но Володя только нетерпеливо дернул плечом и сел на траву против Енука.

Спустя полчаса тесный круг ребят окружал Енука и новенького. «Орла и решку» давно сменили настоящие карты, и теперь оба игрока отчаянно резались в «три листика».

У Енука побагровела шея и губа была закушена. Володя был бледен, но внешне спокоен. Он сдавал карты и брал взятки, как взрослый, почти не глядя. Ему везло, он выигрывал. Енук все более и более раздражался.

— Ты плутуешь! — закричал он, когда Володя начал сдавать карты.— Ты спрятал в рукаве туза!

Ребята кругом зашумели и заволновались. Новый мальчик успел завоевать их симпатию.

— Что ты сказал? — Володя поднялся с травы.— Повтори, что ты сказал!

— Ты... ты плутуешь,— запинаясь, повторил Енук.

— Отверни рукав!.. Покажи ему!..— кричали столпившиеся вокруг Ефрем, Коля и другие ребята.

Володя, закусив губу, отвернул рукав. Из-под белого полотна показалась загорелая мальчишеская рука. Никакого туза не было.

Енук смущенно засопел.

— Дай ему раза! — возмущенно закричал Ефрем Коле.— Пускай просит у новенького прощения...

Но Коля не решался дать «раза» Енуку, который мог одним ударом сбить его с ног.

Вдруг новый мальчик рывком протиснулся между ребятами и встал перед «медведем».

— Вот,— сказал Володя задыхающимся голосом,— во-первых, за то, что ты меня оболтал, а во-вторых, чтоб ты знал меня!

И две оглушительные пощечины обрушились на толстые щеки Енука.

Мгновение стояла тишина. Ребята боялись пошевельнуться. Сейчас, сию минуту, Енук схватит мальчика и изобьет его до полусмерти... Вот уже наливаются кровью маленькие глазки «медведя», вот уже протягивается его рука...

И вдруг... вдруг Енук криво усмехнулся.

— Молодчина ты! — сказал он хрипло— Не даешь себя в обиду. Надо, брат, принять тебя в нашу бригаду!..

Так Володя был принят в Гегутскую бригаду.

Гегутская бригада

Это была сильная организация. Она держала в страхе всех владельцев фруктовых садов, всех ребят, собак и кошек не только Гегутской улицы, но и прилегающих переулков. Она воевала с дворниками и городовыми, поклонялась пожарным и дружила с солдатами Куринского полка.

В Гегутскую бригаду принимали только самых храбрых и сильных мальчишек. Вступающий в бригаду должен был поклясться, во-первых, в непримиримой ненависти ко всем ученикам реального училища, во-вторых, в непримиримой ненависти к соборным певчим, и, в-третьих, он должен был совершить подвиг.

Подвиги были самые разнообразные. Можно было, например, в гимназии на уроке Юркевского бросить петарду; можно было вызвать и отколотить какого-нибудь известного своей силой реалиста; можно было десять раз подряд прыгнуть вниз головой с Мамонтова камня в Рион; наконец, можно было подстеречь старого врага бригады, начальницу сиротского приюта Марью Ивановну, и пропеть перед ее носом песенку следующего содержания:

Трясет козел бородой,
Трясет ведьма головой.
Козел без обмана —
Ведьма Марь-Ванна.

Последний подвиг требовал от исполнителя главным образом умения быстро бегать, потому что Марья Ивановна огромная, костистая и растрепанная, как чучело, немедленно пускалась в погоню за обидчиком, и зонтик ее не раз гулял по спинам смельчаков.

Предводителем Гегутской бригады был, само собой разумеется, Енук Хетерени. Это место принадлежало ему по праву сильнейшего, единственному праву, которое безусловно признавалось всеми членами бригады. У предводителя было два адъютанта — Коля Андриадзе и Ефрем.

Неженка Ефрем совсем не подходил бригаде, но он был мастер на всякие выдумки.

— Ну, выбрал себе подвиг? — спросили Володю адъютанты спустя несколько дней после встречи на пустыре. Теперь оба мальчика относились с симпатией и даже уважением к своему маленькому соседу.

Володя отрицательно покачал головой: нет, он ничего не придумал.

— Может, будешь Марью Ивановну изводить или реалиста вызовешь?

— Нет,— сказал Володя, поморщившись.

— Конечно, можно петарды или чихательный порошок разбросать по классу...

— Нет,— опять сказал Володя.

— Тогда позвони в пожарный колокол или запусти мячом в городового. А то стащи лестницу у фонарщика,— предлагал Коля.

Это было уже сверх всякого списка подвигов. Но Володя качал головой и твердил, усмехаясь:

— Нет, нет! Это же все чепуха! Придумайте что-нибудь другое...

Гимназисты молча глядели на удивительного мальчика, который все их подвиги считал чепухой.

— Придумал! — воскликнул вдруг Ефрем.— Придумал такое, что тебе сразу жарко станет!

Володя и Коля с любопытством ждали, что последует за этим вступлением.

— Вот докажи, что ты самый смелый, что ты ничего не боишься,— продолжал возбужденно Ефрем: —Проберись в сад Курхашвили и нарви там цветов...

Коля засвистел:

— Ай да Ефрем! Придумал тоже! Лезть в сад Курхашвили, того самого Курхашвили, который расстрелял крестьян в Свири! Да кто же на это пойдет?

— Я пойду,— сказал вдруг Володя, и глаза его заблестели,— я пойду на это.

— Он рехнулся, держите его! — не унимался Коля.— Или он не знает, что у полковника Курхашвили три денщика да прислуги столько же... Впрочем,— прибавил он с важностью,— виртус омни обице майор — мужество преодолевает все препятствия.

— Все равно! — сказал Володя.— Дон-Кихот ничего не боялся. Я проберусь в сад и нарву цветов...

— А кому ты отдашь цветы? — с живостью спросил Ефрем.

Этого Володя не знал. Цветы нужны были ему только как доказательство подвига.

— Если ты отдашь их мне, я буду караулить у забора,— сказал Ефрем.

— Ух,— сказал Коля,— Мурочка кому-то собирается преподнести букет!

Ефрем покраснел, но ничего не ответил.

Дом полковника Курхашвили находился позади пустыря и был окружен высоким забором. Ходили слухи, что у полковника лучшие в Кутаисе цветы и фрукты, но еще ни один человек не переступал порога его сада. Ребят Гегутской улицы давно уже мучило любопытство. Сад полковника Курхашвили был единственным местом, куда не могли проникнуть их ноги, носы и глаза. Было известно, что сад охраняют денщики, сторож и два мохнатых пса неизвестной породы, но, безусловно, свирепые.

Иногда ребята видели полковника, проезжавшего в коляске, запряженной серой, в яблоках, парой.

У Курхашвили были щеки, похожие на кизиловый кисель, и крас-

ный складчатый затылок. Он никогда ни на кого не смотрел и никогда ни с кем не разговаривал.

И к этому-то человеку собирался забраться в сад новый член Гегутской бригады.

Со времени основания бригады еще не было такой рискованной вылазки. Адъютанты сообщили предводителю о Володином плане.

— Нельзя пускать его одного на такое дело,— важно сказал Енук,— пусть с ним отправятся Исидор и Ефрем.

Исидора, повара гимназического священника, звали в самых серьезных случаях. Это был тощий бесшабашный парень с всклокоченной курчавой головой и маленьким личиком, которое то собиралось в мелкие морщинки, то вдруг расправлялось, словно китайский веер. Исидор был старым приятелем ребят Гегутской улицы. Володя же подружился с ним у Мамонтова камня.

Близ Белого моста, на берегу реки, стоял обломок скалы, называвшийся «Мамонтов камень». У камня был естественный выступ, откуда лучшие пловцы прыгали в воду. Исидор умел прыгать «ласточкой» и «солдатиком», он плавал саженками, и на спине, и по-лягушачьи, и по-собачьи — мелкими гребками. Именно он учил Володю плавать.

Часто, подав священнику обед, поваренок потихоньку удирал на реку, к Мамонтову камню. Там его ждал Володя.

— Ты, кацо, гляди на меня,— говорил Володе Исидор,— вон, гляди, это совсем легко.— И его острое, костистое тело, похожее на ножик, разрезало воду.

— Иси-дор! Иси-дор! — раздавался вдруг визгливый голос с берега.— Опять удрал, поганый ишак!

— Попадья! — испуганно шептал Исидор.— Володя, друг, скажи ей, что меня нет.— И повар нырял под воду.

Володя предусмотрительно отплывал подальше от берега.

— Нет здесь вашего Исидора! — кричал он попадье.— Он на базар пошел, я сам видел!

Исидор от всей души ненавидел своих хозяев и вообще всякое начальство. Поэтому он с восторгом узнал о готовящемся набеге на сад полковника Курхашвили.

— Я его знаю,— сказал он ребятам,— он с моим попом приятель... Вот будет потеха! — И лицо его растянулось от удовольствия во всю ширь.

— А ты пойдешь с нами? — спросил его Володя.

Исидор сложил лицо в складки.

— Пойду,— сказал он.— Только, если поймают, мне жизни не будет. Поп с попадьей из меня соус сделают.

— Тогда лучше не ходи,— сказал испуганный Ефрем.

— Нет, все-таки пойду,— покачал головой Исидор: — Уж очень хочется им всем насолить.

Набег был назначен на полдень следующего дня. В этот час весь Кутаис, истомленный жарой, спал. Спали под кисейными пологами люди; спали, выкопав ямку в земле, куры; спали, забравшись в тень, собаки и кошки, и одни только ящерицы, радуясь зною, шмыгали среди камней.

В этот час Курхашвили также имел обыкновение почивать, и прислуга его следовала примеру хозяина.

Все это разузнал Володя, наблюдавший за домом полковника.

Енук распределил обязанности: Ефрем должен был оставаться внизу, у стены, и подать сигнал в случае тревоги; Исидор сидел на стене, наблюдая оттуда за садом и улицей, и ему Володя передавал добычу; Володе поручалась самая ответственная часть — он проникал в сад и рвал там лучшие цветы.

— Только смотри, обязательно самые лучшие, чтоб был замечательный букет,— сказал Ефрем Володе и почему-то опять покраснел.

Букет из сада Курхашвили

Они собрались на пустыре. Исидор прибежал, даже не сняв засаленного фартука, в котором стряпал обед. Физиономия его собиралась и расправлялась чаще обыкновенного. Впрочем, волновались все трое.

— А может, не ходить? — нерешительно спросил Ефрем.

Володя посмотрел на него, и Ефрем сконфузился.

— Я пошутил,— поспешил он оправдаться.

Стараясь не шуметь, мальчики направились к высокой серой стене, утыканной гвоздями и оплетенной колючей проволокой. Там, за этой стеной, был таинственный сад.

— Исидор, ты самый высокий, подсади меня,— шепотом сказал Володя.

Побледневший Ефрем пугливо озирался по сторонам. Исидор легко подхватил Володю на плечи, и мальчик, подпрыгнув, оказался на стене.

— Ух, черт, напоролся на проволоку! — прошептал он, перегнувшись.— Никого не видно. Прощайте, братцы, не поминайте лихом!

И, скорчив гримасу, Володя исчез за стеной.

Исидор, цепкий, словно кошка, вскарабкался за ним.

— Что там? Что видно? — нетерпеливо зашептал Ефрем, у которого перед глазами торчали черные босые пятки повара.

Исидор в ответ только восторженно щелкнул языком: сад полковника был похож на великолепную цветочную корзину. Пурпурные розы, белые и красные гвоздики, огромные, величиной с тарелку, георгины, олеандры в кадках, низенькие волосатые пальмы, какие-то невиданные зеленые уродцы — все это цвело, слегка покачивалось на стеблях и наполняло воздух душным, сладковатым ароматом.

— Ввах! — сказал повар, восхищенно оглядывая все это цветочное богатство.

Он увидел Володю. Мальчик быстро двигался среди цветочных клумб, и там, где он проходил, в зелени оставалось пустое место. Он подбежал к ограде, с трудом удерживая обеими руками охапку цветов.

— Держи,— сказал он, запыхавшись.

Повар нагнулся. Тяжелые цветы полетели ему в лицо, в грудь и, перелетев через стену, упали перед Ефремом.

— Теперь живо давай руку! — скомандовал Володя.

Но Исидор не успел протянуть руку. Совсем рядом, на дорожке, послышался тяжелый топот и ревущие голоса:

— Стой! Стрелять будем! Стой!

Володя отчаянно замахал руками на Исидора:

— Беги! Бегите оба! Скорей, скорей!

Исидор хотел что-то сказать, возразить, но к Володе уже подбегали два солдата, и повар, сдунутый вихрем, сорвался со стены. Внизу уже не было ни цветов, ни Ефрема. Придерживая завязки фартука, Исидор тоже пустился наутек.

Два денщика крепко держали за руки Володю.

К ним приближался сам полковник Курхашвили. Китель висел у него на одном плече, тучный живот в белой рубашке вываливался из широких синих шаровар, босые ноги были засунуты в чувяки. Видно было, что полковник только что из постели.

— Что за шум? — обратился он к денщикам. Голос у него был неожиданно писклявый.

Денщики встали навытяжку.

— Ваше высокоблагородие, вот мальчишку накрыли, цветы в саду уворовал,— доложил старший из денщиков.

Полковник всплеснул руками, как женщина:

— Цветы, мои цветы!

Тут только заметил он опустошенные кусты и клумбы.

— Ой, розы мои! Олеандры мои! Лилии! — пронзительно заголосил

Курхашвили и накинулся на денщиков: — Бараны! Гады ленивые! Вы чего смотрели?! Я вас в штрафную роту! Под арест!

Солдаты стояли, вытянувшись, не сводя глаз с лица полковника. Курхашвили подступил к Володе.

— Где цветы? Подай сюда цветы!

Володя молчал.

— Я тебе говорю, отдай цветы, ворюга! — повторил полковник.

Старший денщик сказал скороговоркой:

— Мабуть, он не один был, вашескородие, он пукет бросил по-над оградой, а там кто-то побег часто-часто.

— Организация! — воскликнул полковник.— Покушение! Все ясно: они здесь меня ненавидят!

И полковник заломил толстые руки.

Причитания Курхашвили казались Володе бредом сумасшедшего.

Он с отвращением глядел на трясущиеся кизиловые щеки.

Между тем, полковник лихорадочно совал руки в рукава кителя. Наконец, это ему удалось, он спрятал живот, застегнулся на все пуговицы и велел денщику принести стул.

— Ну-с,— начал он, усаживаясь,— позвольте узнать ваше имя и звание.

Володя нехотя сказал свою фамилию.

— Ага, сын лесничего! — пропищал полковник.— Отец никого не признает, и сынок такой же! Оч-чень хорошо! Гимназист? — продолжал он спрашивать.

Володя утвердительно кивнул.

— Стало быть, гимназия тоже заражена,— сказал полковник.— Сегодня же все будет известно директору. Назови сообщников.

Володя молчал. Курхашвили подумал, что мальчик не понимает вопроса.

— Кто был с тобой? Кому ты передал цветы?

Володя отлично понимал, чего хочет от него полковник, но решил ни за что на свете не выдавать Исидора. Он знал, что ждет повара, если полковник пожалуется на него священнику.

— Что? Ты молчишь? Хорошо,— сказал полковник с видом удовлетворения.— Я заставлю тебя говорить!

Он подозвал денщиков.

— Посадить его в подвал. Пускай сидит, покуда не скажет, кто с ним был. Стеречь в оба! Если удерет, под арест отправлю...

С этими словами полковник удалился.

Солдаты поглядели ему вслед.

— Пес,— сказал старший,— ребенка и то не пожалел. Из-за цветка готов человека уморить.

— Да ты повинись,— подошел к Володе молодой денщик,— поди скажи: «Ваше высокоблагородие, виноваты мы, больше не будем».

Володя упрямо сжал губы и отвернулся.

Старший солдат внимательно поглядел на него.

— Гордый,— сказал он.— Такой не станет виниться. Ну, пойдем, что ли,— он тронул Володю за плечо.

Скрипя, отворилась тяжелая дверь. На Володю подуло холодом. Черная глубокая дыра. Пахнет сыростью, мышами, землей. Солдаты захлопнули дверь, и сразу стало темно.

Володя попробовал нащупать стену и невольно отдернул руку: стена была холодная. Какое-то насекомое пробежало у него по лицу. Паук? Двухвостка? Он с омерзением передернул плечами. Ему стало страшно. Закричать? Но тогда полковник подумает, что он струсил, сдался... Ну, нет, он не станет кричать... Нагнулся, потрогал земляной пол. Сухо. Володя сел, поджав под себя ноги, стараясь не прислоняться к стене.

Он зорко всматривался в темноту. Показалось, что два круглых зеленых глаза смотрят на него из угла. Пошевелился, и глаза исчезли. Что-то глухо скреблось за его спиной. Он попробовал вообразить себя Дон-Кихотом. Это не помогло. Все чувства его были напряжены, он ловил каждый шорох, каждый легкий звук.

Время тянулось бесконечно. Вдруг снаружи послышался звон ключей, дверь подвала приоткрылась. Просунулись две головы: денщики.

— Хочешь, я до батьки твоего добежу? — сказал шепотом младший.— Батька полковнику поклонится, отпросит тебя.

Володя вспыхнул.

— Не станет мой папа кланяться твоему полковнику! — крикнул он запальчиво.— Отстаньте от меня все!..

— Тарасенко! — раздался писклывый голос.— Тарасенко-о!

Дверь поспешно захлопнулась. Старший денщик бросился на зов.

Полковник сидел на балконе. Запотевший кувшин лимонада стоял перед ним.

— Ну как? Все молчит? — спросил он денщика.

— Молчит, ваше высокоблагородие!

Полковник махнул рукой: иди, мол. Тарасенко на цыпочках подошел к подвалу, приник ухом к двери. Внутри все было тихо. Пленник не шевелился.

В саду от деревьев протянулись длинные тени, приближался вечер. Но в подвале и днем и ночью было одинаково темно. Володе казалось, что он заперт здесь уже целые сутки. Все тело у него окаменело. Он несколько раз принимался дремать и просыпался, дрожа от страха.

Оба солдата в тревоге топтались у дверей.

— Тарасенко! — снова позвал полковник.

Тарасенко бегом пустился к балкону.

— Молчит? — опять спросил Курхашвили.

— Точно так, ваше высокоблагородие!

Полковник снова махнул рукой. Но Тарасенко не уходил.

— Ты чего? — удивился Курхашвили.

— Ваше высокоблагородие, как бы чего не вышло,— многозначительно сказал денщик.

— А что? Что такое? — с испугом спросил полковник.

— А так, что узнают, разнесут по городу, будто мальчишку в подвале, как крысу, морим... Нехорошо получится...

Полковник по привычке заломил руки.

— Этого еще недоставало!.. Гони его! — яростно сказал он денщику.— Гони его отсюда, и чтоб духу его не было, и скажи ему, что если...

Но Тарасенко не дослушал. Он уже мчался к подвалу, звенел ключами и тащил Володю к калитке.

— Иди, иди скорей, пока пес не одумался,— шептал он мальчику,— гнать тебя велел...

Спустя четверть часа Володя, очень бледный и сумрачный, входил к себе в комнату. Его сильно знобило, болела голова.

Навстречу ему выбежала Оля.

— Ты где пропадаешь? — весело закричала она.— Вон погляди, что я получила в подарок...

Она потащила его к своему столу. В высокой вазе стоял букет редких цветов. Володя узнал их: это были те самые цветы, которые он сорвал в саду полковника Курхашвили.

Серебряное сердце

Буква «О» была вырезана на первой парте третьего основного класса. Буква «О» была выцарапана на окне в гимназическом коридоре. Ту же букву, украшенную цветочками и завитками, можно было встретить на заборе дома Андриадзе, на деревьях пустыря, на некоторых скамейках Гегутской улицы... И, наконец, большое «О», наколотое булавкой и обведенное чернилами, пряталось под гимназической курткой на некоей мальчишеской руке.

Ефрем не побоялся даже такой мучительной операции, лишь бы покрепче запечатлеть на коже инициал своей избранницы.

Теперь Цаца раз десять в день бегала в Большой дом. Носила то

цветы, то мраморную бумагу для обертки тетрадок, то красивые открытки, где были нарисованы незабудки немыслимой величины или пылающие сердца.

Цаца прямо сияла от удовольствия и гордости: подумайте, ей доверяют такие важные поручения! Босые ноги ее так и мелькали по двору, язык работал, не умолкая, и вся Гегутская улица давно уже знала, чье имя повсюду вырезает Ефрем.

Оля по-прежнему подсмеивалась над долговязым гимназистом, но однажды сказала, будто мимоходом:

— Приходите к нам в гости.

Ефрем вспыхнул. Ему давно хотелось попасть в Большой дом. Спокойная, ласковая мать, старшая сестра, приезжавшая из Тифлиса, Оля, Володя — все нравились Ефрему, жившему вдали от родной семьи. Но хозяин...

Бородатый, большой лесничий казался таким суровым и так пристально глядел на Ефрема при встречах, как будто знал все его мысли.

— Ваш отец...— сказал он Оле, печально ероша волосы и воображая себя по крайней мере Дубровским...

— Папа? — переспросила Оля и ухватила его за рукав.— Пойдемте, пойдемте к нам, я вас познакомлю с папой...

И она потащила упирающегося Ефрема в дом.

Была суббота — день, когда лесничий приезжал из Багдади навещать семью. Он только что приехал, на столе были горой навалены толстощекие багдадские яблоки и коричневые длинные орехи — фундуки. Отец, шумный, веселый, заполнял своим голосом, собой весь дом. Комнаты сразу начинали казаться теснее и меньше, от шагов лесничего дрожала и звенела посуда в буфете.

— Ну, чем теперь занимается Володя? — первым делом спросил он, похлопывая своей большой рукой по плечу сына.— В прошлый раз, когда я приезжал, он увлекался марками...

— От книг не оторвешь,— сказала мать.— Даю деньги на завтрак, а он набьет карманы фруктами и тратит деньги на Жюль Верна...

Отец засмеялся:

— «Таинственный остров», «Восемьдесят тысяч лье» и тому подобное?.. А учение как идет? Ну-ка, покажи бальник.

Каждую субботу отец проглядывал отметки сына. Володя не боялся этих «ревизий» — он учился хорошо.

— По рисованию, конечно, круглые пятерки,— сказал лесничий, перелистывая бальник,— история, география и естествознание тоже идут прилично. А вот с математикой и языками ты, я вижу, враждуешь...

Володя хотел что-то сказать, но в этот момент шумно рас-

пахнулась дверь и на пороге появилась Оля, таща за собой Ефрема.

— Это, папа, наш сосед, Ефрем, который у Андриадзе живет,— сказала она, еле переводя дух.— Он не хотел идти к нам, боялся.

— Знаменитый адъютант Гегутской бригады! Слышал, слышал,— сказал лесничий, усмехаясь так хитро и умно, что у Ефрема всю робость как рукой сняло.— Ну что же, давайте дружить! — и рука гимназиста потонула в теплой ладони.

Вскоре Ефрем почувствовал себя, как дома, в семье лесничего.

Как знакомы стали ему теперь пять ступенек крыльца, коридор, столовая, комната матери, которая была в то же время и комнатой Володи!..

Здесь Ефрем бывал чаще всего. Незаметно для самого себя гимназист третьего класса подружился с мальчиком, который был гораздо моложе, но совсем не походил на ребят Гегутской улицы. Те учились кое-как, почти ничего не читали, дрались, пускали змеев и бегали смотреть пожары и на извозчика Пепо Сахаридзе, когда тот напивался пьяным. Володя тоже дрался и бегал смотреть пожары, но это не было для него самым главным, как для ребят Гегутской улицы. Он жил своей особой жизнью: рисовал, читал, собирал насекомых. В банке у него был заспиртован даже настоящий скорпион.

Ефрем невольно чувствовал его превосходство: Володя знал много такого, о чем третьеклассник и понятия не имел.

Чем старше становился Володя, тем яснее проступал в нем сильный, своеобразный характер. Настроение его часто менялось, никогда нельзя было угадать, каким оно будет через час. Он то смеялся, веселился сам и веселил других, то вдруг замыкался в себе, замолкал и мог часами молчать, устремив глаза в одну точку, думая о чем-то своем.

Спустя несколько дней после появления Ефрема в Большом доме Володя повел гимназиста в свой угол. В комнате матери, отгороженной ширмой, стоял стол, заваленный следами Володиных «увлечений»: марки, краски, цветные карандаши, переплетные принадлежности...

— Умеешь переплетать? — спросил Володя Ефрема.

Нет, Ефрем не умел.

— Вон, смотри, это я сам все переплел.— Володя показал стопку книг на окне.

Ефрем рассеянно взглянул на книжки.

— Ты что скучный, Ефремчик? — спросил Володя.

Третьеклассник отвернулся и засопел.

— Да ты что? Что с тобой? — не отставал Володя.

Ефрем отчаянно затряс головой. Глаза у него подозрительно покраснели.

Дело было в том, что Оля подарила ему маленькое серебряное сердце и обещала никогда не ходить с чужими мальчиками. Сердце стоило всего полтора рубля, его чеканили серебряных дел мастера у Красного моста, но Ефрем носил сердце на груди, как самую драгоценную реликвию...

И вдруг сегодня, возвращаясь из гимназии, Ефрем увидел Олю. Он бросился было к ней и разом остановился.

Рядом с Олей шагал длинноволосый соборный певчий, по прозвищу Постное Масло. Оля повернула к нему розовое лицо, и оба они над чем-то смеялись. Ефрем стоял как вкопанный. Маленькое серебряное сердце прыгало у него на груди.

Постное Масло — самодовольный толстый мальчишка, рядом с Олей! Этого Ефрем не мог вынести...

— Брось горевать! — сказал Володя, выслушав Ефрема.— Давай лучше вздуем Постное Масло. Хочешь? Нет? Тогда вызови его драться один на один...

Ефрем оживился. Предложение ему понравилось. Было решено, что секундантами Ефрема будут Енук и Володя.

В тот же вечер три члена Гегутской бригады остановили возвращавшегося со спевки Постное Масло. Володя выступил вперед — он приходился как раз по плечо дородному певчему.

— Слушай ты, ослиный помет,— сказал он звонко,— ты осмелился ходить с нашими девочками. Мой друг Ефрем вызывает тебя драться. Выходи!

У Постного Масла задрожали щеки. Три врага стояли перед ним.

— Драться? Зачем драться? — забормотал он, пятясь.

— Выходи! — повторил Володя.

Ефрем поднес сжатый кулак к носу певчего:

— Снимай рубаху, начинай!

Но Постное Масло ловко вывернулся из-под его руки и что было сил пустился наутек.

— Держи труса! Лови! — заорал Енук, не двигаясь с места.— Ату его! Держи!

— Держи-и! — подхватили Ефрем и Володя.

По темной улице гулко раздавался топот удирающего певчего.

Постное Масло больше не появлялся на Гегутской улице. Но Ефрем не забыл обиды. На следующее утро Цаца принесла Оле аккуратно заклеенный пакетик. Когда Оля распечатала его, к ней на ладонь упало маленькое серебряное сердце.

«Бородач» дает уроки

— Володя-то как вырос! Не узнать! Ну-ка, повернись, я погляжу, какой у меня брат...

Высокая девушка со смехом тормошила сконфуженного Володю.

Это была Люда, только что приехавшая из Тифлиса. Старшая сестра окончила пансион. Теперь она была совсем взрослая, носила прическу и кофточки с воротничками на китовом усе.

Большой дом сразу наполнился шумом, беготней, голосами. Мать и Оля распаковывали корзинку приезжей.

На постелях, на стульях, на столах валялись книжки стихов, альбомы, вышитые платочки — подарки Людиных пансионских подруг.

Володя развернул большой альбом для рисования. Там было несколько акварелей — уголки старого Тифлиса, кудрявая женская головка.

— Значит, ты не бросила рисование? — спросил он старшую сестру.

— Вовсе нет,— сказала Люда,— осенью я поеду в Москву учиться в училище живописи. Папа с мамой уже согласились.

И она оглянулась на мать.

Володя насупился.

Он сам давно, еще в Багдади, мечтал поехать в Москву. Теперь он мучительно завидовал старшей сестре.

— Мне мама писала, что ты тоже рисуешь,— сказала Люда.— Ну-ка, покажи.

— Да это так... я и не рисую вовсе...— пробормотал Володя.

— Показывай, показывай, нечего прятать! — настаивала старшая сестра и, не дожидаясь приглашения, отправилась в Володин угол.

Там, над столом, висели на кнопках две картинки. На одной плыл по волнам большой пароход с дымящейся трубой. Другая изображала мальчика, нагруженного целой дюжиной стульев. Люда, нагнувшись пристально рассматривала рисунок.

— Здесь я сам себя нарисовал,— нехотя объяснил Володя.— Это я к обеду собираю стулья со всего дома. Видишь, целую гору тащу...

— Мне кажется, у тебя большие способности,— с важностью сказала Люда.— Я покажу твои рисунки понимающему человеку.

И, отколов рисунки, старшая сестра без всякой церемонии унесла их к себе.

«Понимающий человек» оказался кутаисским художником Краснухой, у которого Люда начала брать уроки рисования. Володя знал его. Бородатый, в небрежном костюме, Краснуха бродил по окрестно-

стям с этюдником, глядя на всех встречных рассеянными и вместе с тем внимательными глазами. Его нелепая фигура, увенчанная соломенной шляпой, часто торчала у развалин Багратова храма или в дубовой роще.

— Мама! Володя! Кричите «ура»! Я показала Володины рисунки Краснухе. Он берется бесплатно учить его! Говорит, у него талант,— закричала назавтра Люда, придя от художника.— Понимаете, даром хочет учить!..

— Талант, талант! — запела Оля, вертясь возле брата.— Хусадоци-жниса-кци,— вспомнила она «конспиративный» язык.

Володя теребил Люду за рукав.

— Нет, ты расскажи, как это вышло. С самого начала. Ну, пришла ты к «бородачу»...

— Ну, пришла я к нему,— с увлечением рассказывала Люда,— вытащила твои рисунки. Он посмотрел, говорит: «Очень живо. Кто это рисовал?» Я говорю: «Мой брат, он еще совсем мальчик».— Тут Люда поглядела на Володю. Брат нетерпеливо дернул плечом.— «Так вот,— говорю,— он еще мальчик». Тогда Краснуха еще раз поглядел на рисунок и вдруг говорит: «Приводите брата вечером ко мне, я буду с ним бесплатно заниматься. В нем,— говорит,— чувствуется талант».

— Так и сказал? — Володя придвинулся к сестре.

— Так и сказал,— кивнула Люда.

— Надо отцу написать, а то он там в Багдади не знает, какие у него замечательные дети,— шутливо сказала мать.— Ну, художники, идите чай пить, а потом пойдете на урок.

Вечером Володя с сестрой отправились к художнику.

Краснуха уже ждал их. В большой комнате, превращенной в мастерскую, горели две большие лампы под зелеными абажурами. У стен стояло множество холстов, гипсовые слепки рук и ног, голова какой-то богини... Пахло красками, деревом, немножко лаком. На мольберте стояла начатая картина: голова старика, набросанная резкими и смелыми линиями.

Володя осматривал все, не стесняясь, любопытный и жадный, как маленький дикарь. Художник в просторной полотняной блузе, с густыми волосами, свисающими на лоб Володе понравился.

«Кажется, подходящий бородач»,— подумал он.

Между тем, «бородач» приготовил лист бумаги, хороший мягкий карандаш, резинку.

— Для начала нарисуйте все, что вы видите в этой комнате,— сказал он Володе.

— И вас тоже рисовать? — спросил Володя.

Художник усмехнулся:

— И меня в том числе...

Володя взял в руки карандаш и еще раз обежал глазами комнату. Большое окно, у окна Люда копирует гипсовый орнамент, на столе навалены в беспорядке книги, от лампы тянутся тонкие лучики света...

Карандаш быстро замелькал по бумаге. Художник присел рядом с Людой и начал ей что-то рассказывать. До Володи долетали отдельные слова: «Когда я учился в Академии...», «Нас отправили в Италию...», «Во Флоренции, в музее...» Он не вслушивался, он рисовал.

Люда потихоньку поглядывала на брата. Лицо его горело, он сильно тер резинкой по бумаге и что-то бормотал себе под нос.

Вдруг он громко сказал:

— Возьмите, готово!

Художник и сестра с интересом нагнулись над рисунком.

В косой комнате посреди кривых столов и мольбертов стоял заросший до глаз волосами доисторический человек в просторной блузе художника. Но в позе человека, в его длинных руках и склоненной голове было неуловимое сходство, и каждый узнал бы в нем «бородача».

Сконфуженная Люда молчала. Краснуха долго разглядывал рисунок, потом сказал Люде:

— Ваш брат — молодец. Такой острый глаз не часто встречается. Большинство увлекается частностями, а вот этот мальчик сразу схватывает главное.— И, обернувшись к Володе, добавил: — Теперь вы каждый день ко мне приходите. Давайте делать из вас художника.

Порт-Артур

Было воскресенье. Дома оставались только мать и Володя. Мать в столовой шила что-то на машинке, и до Володи долетал ритмичный, однообразный стук. Володя чинил цветные карандаши: ему хотелось привести в порядок свои рисовальные принадлежности. Но карандаши то и дело ломались, кисточки все облезли, и вообще все в это утро не клеилось.

Мальчик подошел к окну. Стояла кутаисская неровная зима. Дождь косо летел по улице. Три скрипучие арбы везли дрова. В саду мокрые серые кипарисы качались от ветра: казалось, они с трудом держатся на ногах.

Вдруг Володя увидел отца. Размахивая руками, он быстро шагал к дому. Фуражка его была сдвинута на затылок, пальто расстегнуто.

— Война! — закричал он еще с порога.— Вчера ночью японцы атаковали в Порт-Артуре наши корабли. Два броненосца и крейсер «Паллада» получили пробоины. Сейчас я читал царский манифест. Японии объявлена война!..

Стук машинки разом оборвался. Побледневшая мать прислонилась к дверному косяку.

Володя был в восторге. Война — это, значит, подвиги, слава, знамена, полковая музыка!.. Как все мальчики его возраста, он увлекался описанием жизни великих полководцев — Суворова, Наполеона...

Если бы его спросили в то время, что такое война, он сказал бы, что она похожа на военный парад, который он однажды видел в Кутаисе. Тогда все солдаты были одеты в новенькие, с иголочки, шинели, на эполетах офицеров висела жирная золотая бахрома, и солнце отражалось в огромных медных трубах оркестра. Все кругом было стройно, празднично, щеголевато.

Так он и воспринял сначала войну. Его удивлял только отец: лесничий ходил хмурый и молчаливый; ему война, по-видимому, ничуть не казалась праздником. В столовой лесничий повесил карту военных действий. Он показал сыну русскую крепость Порт-Артур, вокруг которой шли бои.

— Эта война нам дорого обойдется,— сказал он раздраженно.

Дни летели с невиданной быстротой. Приходила тетя Анюта в белой косынке с красным крестом. Теперь она работала сестрой милосердия в лазарете.

— К нам уже привезли первых раненых,— сказала она,— совсем молоденькие солдатики. Кому руку оторвало, кому ногу...

Володя слушал и не понимал. Оторванные руки и ноги тоже как-то плохо вязались с его представлением о войне. Это уже не было похоже на парад.

Дома увеличилось количество журналов и газет — «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство». Володя читал все.

В городе шла мобилизация. На улицах появились военные в походных шинелях. На многих домах вывесили белые флаги с красным крестом: там помещались лазареты. С вокзала на линейках привозили раненых.

Гегутская бригада чаще обыкновенного собиралась на пустыре. Прежние игры были заброшены. Енук стащил где-то старую берданку, и теперь мальчики учились стрелять и копили серéбряную бумагу от шоколада.

— Это олово, из него можно лить пули,— сказал Енук.

Коля Андриадзе всем рассказывал историю двух мальчиков Соловьевых, которые бежали на войну и отличились в Тюренченском сражении.

Ефрем серьезно собирался идти добровольцем — он так завидовал раненым офицерам! В эффектных черных повязках они разгуливали по бульвару, окруженные целой толпой щебечущих барышень.

Между тем, с театра военных действий приходили плохие вести. Царские генералы проигрывали сражение за сражением.

Адмиральский броненосец «Петропавловск» наткнулся на мину, взорвался и в две минуты затонул. На нем погибли вице-адмирал Макаров, знаменитый художник Верещагин и семьсот человек экипажа. Спасли только одного великого князя. Русские солдаты говорили по этому поводу:

— Не все, что плавает на воде, нужно вылавливать.

В Кутаисе выпал снег и начались морозы. Суровая зима была редкостью в этом южном городе, и гимназисты обрадовались ей, как новому развлечению.

В большую перемену на гимназическом дворе начался «бой» снежками.

— Постойте! — закричал Володя, который предводительствовал третьеклассниками.— Давайте лучше строить крепость.

— Крепость! Давайте строить крепость! — подхватили гимназисты.

Крепость строили целых три дня. Из снега возвели круглую башню с бойницами и облили ее водой. Вокруг башни прорыли окопы. Заготовили «тяжелую» артиллерию: опуская снежки в воду, получали твердые круглые ядра.

— Как же мы назовем нашу крепость? — спросил Аполлоша Месхи Володю, при котором состоял адъютантом.

— Конечно, Порт-Артур,— не задумываясь, ответил Володя.

Военные действия начались в тот же день, после уроков. Круглые ледяные стены крепости отливали синевой. Кучки ядер лежали перед каждым бойцом.

«Японцы» под командой Енука направились к чинаре.

— Здесь будет стоять наша эскадра,— объявил Енук.— Посмотрим еще, чья возьмет!

Так началась осада гимназического «Порт-Артура», которая тянулась много дней и занимала все большие перемены.

Володя возвращался домой то с подбитым глазом, то с синяком во всю щеку.

— Опять Порт-Артур? — спрашивала мать.

Володя молча кивал и уходил в свой угол. Теперь за ширмой все было увешано открытками с видами крейсеров «Паллада», «Рюрик», «Громобой».

Корабли были громоздкие, неуклюжие, но Володе они казались мощными и совершенными. Он мог часами сидеть за ширмой и перерисовывать, раскрашивать, увеличивать любимые крейсеры и броненосцы.

С наступлением тепла «Порт-Артур» был перенесен со двора гимназии на берег Риона.

Форты сложили из камней, а снаряды теперь лепили из глины, смешанной с песком.

Гимназический «Порт-Артур» храбро отбивал все атаки противника, совершал отважные вылазки и наносил врагам сокрушительные удары. А настоящий Порт-Артур на Дальнем Востоке отдавал японцам форт за фортом. И каждое утро Володя с досадой смотрел на карту: флажки, обозначавшие русскую эскадру, почти не двигались или отодвигались назад.

Однажды, разгоряченный, запыхавшийся, Володя вернулся из гимназии позже обыкновенного: в этот день в боях участвовали старшеклассники. Им здорово влетело от защитников крепости, одному даже нос расквасили. Володя вспомнил об этом и засмеялся.

В спальне, не зажигая огня, сидел отец. Что-то в его сгорбленной фигуре поразило сына.

— Порт-Артур сдан,— хрипло сказал лесничий.

И в этот вечер Володя впервые почувствовал, что жизнь ничуть не похожа на игру.

Тысяча девятьсот пятый

«Кутаисе уличные беспорядки. Тревожное настроение охватило всех. Родители опасаются отпускать школу детей. При данных условиях вести занятия затруднительно».

Белесый, тучный человек в вицмундире прочел телеграмму из Кутаиса и раздраженно бросил ее под стол, в корзину.

Этот кутаисский директор гимназии совсем, по-видимому, потерял голову. Засыпает его телеграммами, как будто он, попечитель, может справиться с разбушевавшейся стихией. Не знает он, что ли, что по всей стране такие же «беспорядки»...

Нервной рукой попечитель схватил газету. В Петербурге — забастовка. В Москве стали все фабрики и заводы. В деревнях крестьяне поднялись против помещиков. А главное, эти молокососы-студентишки, гимназистишки объявили себя революционерами! Выступают на митингах, поддерживают рабочих, требуют свобод...

Попечитель стукнул кулаком по столу. Если б можно было, с каким удовольствием он посадил бы всю Россию в карцер, оставил бы без обеда, просто высек бы всех этих бунтовщиков!..

И вдруг, как бы в ответ на его мысли, за окном на улице все запело, загудело, забурлило, и, словно сквозь стены, просочился и все заполнил могучий, нарастающий гул.

В дверь, не постучавшись, вломился бледный секретарь.

— Что такое? Что там? — умирающим голосом спросил попечитель.

— Похороны,— пролепетал секретарь.

Вот оно что! Значит, хоронят тех гимназистов и рабочих, которых убили полицейские...

Попечитель сжался в своем кресле. Он вспомнил все, что слышал об этом. Толпа «патриотов», состоявшая главным образом из торговцев и полицейских, носила по Тифлису портрет царя и требовала, чтобы все встречные снимали шапки. Гимназисты отказались обнажать головы. И тогда началось жестокое и безобразное побоище. «Патриоты» избивали мальчиков. На помощь гимназистам подоспели рабочие. Власти вызвали казаков и конную полицию. Безоружных рабочих и гимназистов поливали свинцом.

И вот теперь революционный Тифлис хоронил убитых.

В запертые окна настойчиво врывалась, звенела похоронная песня революционеров:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...

Попечитель, притаившись за занавеской, глянул на улицу.

Над черным морем голов плыли обитые красным гробы. Цокая копытами, пронесся отряд конных жандармов. И народ, словно бросая вызов, запел «Марсельезу».

За спиной кашлянул секретарь. Попечитель оглянулся.

— Вам телеграмма. Из Кутаиса...

— Опять? — недовольно пробормотал попечитель.— Что там такое? Прочтите.

— «Сегодня конце большой перемены ученики произвели шумную демонстрацию,— читал секретарь.— Пришлось отпустить домам. Подробности рапортом».

— Подробности?! — завопил вдруг попечитель, вырывая из рук секретаря телеграмму и разрывая ее на мелкие клочки.— К черту подробности! Я не желаю знать никаких подробностей!

Он выпил валерьянки, чтобы успокоиться, и заперся у себя в спальне.

— Никого не принимать, а главное, не подавать мне никаких писем и телеграмм, в особенности из Кутаиса,— сказал он секретарю, скрываясь за дверью.

А в это время Кутаис, этот сонный и затхлый городок, преобразился.

Кругом — в Гурии, в Мингрелии — народ поднялся против угнетателей. Бастовали рабочие, крестьяне жгли усадьбы помещиков. Революционное движение нарастало.

Уже бастовали в Кутаисе железнодорожники и повара. Громко звучала на улицах «Марсельеза». На Габаевской горе собирались митинги. Уже Кутаисская губерния была объявлена на военном положении. Наместник Кавказа отправил телеграмму военному министру: «Ввиду положения дел Кутаисской губернии ходатайствую немедленном направлении Кутаисскую губернию морем, через Поти, дивизию пехоты с артиллерией, обозами, госпиталем».

Усмирять Кутаис и вообще всю Имеретию был послан палач генерал-майор Алиханов. Но громче выстрелов, громче набата гремело и разливалось по всей стране грозное слово «революция».

Было начало осени. На пустыре фруктовые деревья гнулись под тяжестью плодов: никто не обрывал их — ребята были поглощены событиями, и Чарекишвили этой осенью мог спокойно собирать урожай.

Семья лесничего жила взбудораженно, в гуще событий, слухов, разговоров.

Володя уже много дней не был в гимназии: у него на виске заживала довольно глубокая рана (подрался с тремя реалистами на Рионе). Он томился и рвался на улицу.

Как хотелось ему сделать что-нибудь для революции, сражаться за нее, даже погибнуть, если понадобится!

Уже давно отошли на задний план все интересы, кроме революционных. В бальнике Володи появились двойки, но даже отец не обращал на них внимания. Никто не думал теперь о занятиях.

Из гимназии прибегали Коля и Ефрем, рассказывали, что там митингуют, что священнику Тугаринову и учителю греческого, по прозвищу Хапо, устроили обструкцию за то, что они издевались над грузинами и евреями.

Пришел лесничий. Он был хмур и зол. В Багдади волновались крестьяне, и его только что вызывали к начальству.

— Говорят: «Поговорите с крестьянами, они вас уважают, послушаются и разойдутся по домам».— Ну нет, голубчики, не на того напали! Я поперек дороги крестьянам не буду становиться,— с жаром сказал он жене.

— Так ты отказался? — спросила она.

Лесничий кивнул:

— Разумеется. Знаешь,— прибавил он,— все здешние чиновники получили анонимные письма с нарисованным гробом, кроме меня.

Володя с гордостью поглядел на отца. И теперь, в эти революционные дни, отец оставался для него таким же справедливым, умным и смелым, как всегда.

— От Люды ничего не было? — спросил отец.

— Нет,— отвечала мать.

— В Москве, на Пресне, говорят, идут бои,— сказал отец,— рабочие построили баррикады и сражаются с полицией.

У Володи даже дыхание захватило.

Баррикады, бои, как во время Французской революции, о которой он прочел так много книг! И Люда там, в Москве, быть может, сама сражается на баррикадах. Как сильно, как страстно завидовал он теперь старшей сестре!

Он отпер ящик своего стола, где хранились самые лучшие и любимые вещи: «Дон-Кихот», новая коробка с красками, альбом марок...

Под вещами, в дальнем углу, были запрятаны длинные бумажки. Стихи. Их привезла в свой прошлый приезд из Москвы Люда. Тайком сунула брату: «Это нелегальщина. Спрячь хорошенько. За нее людей на каторгу ссылают».

Одно из стихотворений, привезенных Людой, начиналось так:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
Скорей брось винтовку на землю...

Другое высмеивало царя с царицей.

Володя еще раз перечел длинные бумажки, хотя и без того знал их наизусть. Ему мучительно хотелось участвовать в том, что сейчас кипело и вздымалось по всей России.

В столовой Оля, навалившись грудью на стол, читала. Уши у нее были красные, как огонь; читая, она шевелила губами. Володя отогнул край ее книжки.

— «Положение женщины в настоящем и будущем»,— прочел он вслух заглавие.— Оля, дай и мне что-нибудь почитать.

Оля молча указала на стопку книг, сложенную на столе.

— «Что такое рабочий день», «Социализм в Японии», это я все читал,— сказал Володя.— А вот это что-то новенькое.

Он вытащил книжку в зеленом переплете, озаглавленную «Буржуазия, пролетариат и коммунизм».

Теперь брат и сестра читали только те книги, в которых говорилось о революции. Жюль Верн и Майн Рид валялись на полке, запыленные и забытые.

Володя только взялся за книгу, когда в передней послышался шум. Вошел запыхавшийся Ефрем.

— Идем скорее в гимназию,— сказал он, торопясь.— Тебя класс требует, сегодня твои устраивают обструкцию Юркевскому. Говорят, он на революционеров доносы пишет...

Обструкция

Гимназия гудела, пела, кричала, спорила, произносила речи, требовала, угрожала, насмехалась. Снизу доверху все огромное старинное здание было наполнено нестройным гулом.

В верхнем и нижнем коридорах толпились, разбившись на оживленные кучки, гимназисты.

В одном углу пели только что сочиненную «Ученическую марсельезу»:

На борьбу за свободную школу
Мы подымемся в целой стране...

В другом спорили о том, как надо понимать слово «люмпен-пролетариат». В разбитое окно врывался ветер, шевеля красный лоскут на подоконнике.

Володя и Ефрем еле протолкались к своим.

— Ребята, наконец-то! — радостно закричали, увидев их, Коля Андриадзе, Енук, Аполлоша Месхи и другие мальчики.— Ребята, слыхали, как Церетели отбрил нашего губернатора?

— Какой Церетели? Акакий? Поэт? — спросил Володя.

— Да, да,— заторопился Коля.— Слушайте, я вам расскажу.

И Коля, отчаянно жестикулируя и захлебываясь, начал:

— Сидит Церетели на вокзале в буфете и завтракает. Вдруг входит губернатор. Все в зале встают, только Акакий продолжает завтракать. Губернатору это ужасно не понравилось. Вы только подумайте: все встали, а тут какой-то оборванец продолжает жевать как ни в чем не бывало! Губернатору предлагают пообедать, но он даже весь аппетит потерял. Взял одно печенье, жует его и подходит к Акакию. «Скажите,— спрашивает,— какая разница между животным и человеком?» А Церетели понял, к чему он клонит, и отвечает: «Человек ест сидя, а животное стоя». Губернатор красный стал, как помидор, сейчас же сел в карету и уехал.

Мальчики захохотали.

— Молодец Акакий! Здорово посадил губернатора!

По коридору прошел Хапо, презрительно оглядел гимназистов.

— Вести себя прилично не умеете,— сказал он,— ржете, как жеребцы!

— Долой! Долой! — закричали гимназисты, и побледневший Хапо юркнул в директорский кабинет.

Затрезвонил колокольчик, объявляя начало урока. Никто не тронулся с места.

— В класс, дети, в класс! — встревоженно, как наседка, закудахтал старик-надзиратель Лазарь.— Сейчас придет господин Юркевский.

Володя, переглянувшись с Аполлоном, решительно вошел в класс. За ним последовали остальные.

У многих оттопыривались карманы. Там лежали петарды — тугие бумажные пакетики, наполненные порохом.

— Как я подыму руку, так начинайте,— шепотом сказал Володя соседям.— Устроим сегодня бенефис господину доносчику!

— Встать! — раздался голос надзирателя.

Торопливой походкой вошел Юркевский. Его напомаженная узкая головка была всажена в тугой крахмальный воротник, точно пробка в пузырек с лекарством. Исподлобья оглядел он вставший класс.

— Шакал, и глаза шакальи,— шепнул Володя Аполлону.

Тот молча кивнул.

— Дежурный, молитву! — сказал Юркевский.

Все головы повернулись к третьей парте. Тридцать пар карих, серых, черных глаз смотрели на Володю.

Медленно, так медленно, что Аполлоша успел два раза сосчитать до двадцати, Володя поднялся и вышел на середину класса. Но, вместо того чтобы повернуться к висевшей в углу иконе, он повернулся к учителю.

— Ну, что? Забыли, что ли? Читайте: «Преблагий господи!» — резко сказал Юркевский.

— Нет,— сказал Володя, поднимая глаза на учителя,— нет, я не забыл. Только я не стану читать молитву... И никто теперь не станет,— торопливо прибавил он, видя, что учитель то бледнеет, то краснеет и кусает губы.

— Ах, вот как! — Юркевский криво усмехнулся.— Господа учащиеся стали атеистами?! Это мы еще увидим! Месхи, молитву! — повелительно крикнул он.

Встал Аполлоша. Губы у него дрожали, он старался не глядеть на учителя.

— Ну-с,— угрожающе протянул Юркевский,— я жду.

Аполлоша молчал.

— Жгенти, молитву! — бешено закричал Юркевский.— Живо!

Встал Саша Жгенти. И этот молчал. Юркевский вдруг согнулся, как шакал, который собирается прыгнуть. В лице его не было ни кровинки.

— Бунтовать вздумали, миленькие,— сказал он почти шепотом,— подражать разным социалистишкам?! Отлично-с! Всех выкинут с волчьими билетами, все свиней пасти будете! С вами, голубчики, не поцеремонятся... Из гнид вырастают вши...

— Неправда! — крикнул срывающийся мальчишеский голос, и весь класс повернулся к Володе.— Неправда это! Никаких волчьих билетов не будет. И вас тоже не будет. Долой фискалов! — крикнул он что было мочи.

— Фискал! Шпик! Долой! Долой! — завопили гимназисты.

С задних парт густо и протяжно загудели.

— Не будем учить «Оду Фелице»! Долой церковнославянский! — неистовствовал класс.— Да здравствует свобода!

— Свобода! Свобода! — подхватили все.— Долой самодержавие! Долой царских шпиков!..

Володя поднял руку, и сразу в нескольких местах оглушительно хлопнули петарды. Юркевский, сжав кулаки, что-то кричал, но в общем гаме его крик был не слышнее комариного писка. В накрахмаленном воротничке смешно и жалко моталась напомаженная голова. Наконец, заткнув руками уши, он кинулся вон из класса.

Берданка

«Дорогая Люда!

Пока в Кутаисе ничего страшного не было, хотя гимназия и реальное забастовали, да и было зачем бастовать: на гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше — пушки поставили во дворе, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне...»

Володя на минуту задумался: «ять» или «е» поставить в слове «камне»? Кажется, «ять», а впрочем, неважно, сейчас старшая сестра не станет придираться к правописанию.

Он продолжал:

«Блестящая победа была совершена казаками в городе Тифлисе. Там шла процессия с портретом Николая и приказала гимназистам снять шапки, на несогласие гимназистов казаки ответили пулями; два дня продолжалось избиение.

Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот...»

За плотно закрытыми ставнями спальни стояла черная ночь. Но в городе давно уже не спали по ночам. Внутри домов шла настороженная, пугливая жизнь.

На улице, совсем рядом, хлопнул одинокий выстрел, и сейчас же где-то далеко ему откликнулась частая ружейная пальба. Как просыпанный горох, застучали копыта лошадей.

— Казаки! — сморщившись, прошептал Володя.

Он думал о казаках с ненавистью. Теперь все враги революции становились его личными врагами.

Ему исполнилось двенадцать лет, его страна боролась за свободу, и он не мог и не хотел думать ни о чем, кроме этой борьбы. Сейчас он сидел, забыв о письме, сжав зубы, прислушиваясь к удаляющемуся топоту. Ух, с каким удовольствием послал бы он пулю вдогонку «царским башибузукам»!

Рядом, в столовой, слышались приглушенные голоса. Володя, наскоро дописав письмо, вышел туда. За столом вокруг единственной свечки собрались мать, вся семья Андриадзе с Колей и Цацой, Оля, Ефрем и подруга Оли Надя Рухадзе. Было тепло, но мать куталась в платок, и при неровном свете свечи все казались Володе бледными.

— Сегодня взяли брата Чарекишвили,— почти шепотом рассказывал по-грузински портной,— того, что был машинистом на паровозе. Говорят, у него нашли нелегальные книжки...

Володя невольно сунул руку за пазуху. Там, в подкладке куртки, у него были спрятаны революционные стихи, которые дала ему Люда. Он с ними не расставался.

— В Чиатурах, говорят, рабочие собрались на митинг,— сказал Коля,— вдруг налетела полиция, и одного рабочего, который стоял на трибуне, застрелили на месте.

Цаца с удивлением слушала брата. Что с ним такое? Он не вставил ни одного латинского слова!

Сквозь ставни еле слышно донеслись обрывки какой-то песни... Все прислушались.

— «Марсельеза»! — все так же шепотом сказал Андриадзе.— Я узнаю ее из тысячи песен. Красивая песня, боевая песня! Жаль, что я не знаю слов...

И он, покачиваясь на стуле, стал еле слышно напевать мотив.

— Папа тоже часто поет «Марсельезу».— Володя вступил в круг света и наклонился над столом.— Я, когда был маленький, думал, что он поет: «Алон занфан, де ла по четыре».

В другое время это вызвало бы смех. Но сейчас все только слабо улыбнулись.

— А у нас за «Алон, занфан» гимназию закрыли,— вмешался Ефрем, хитро поглядывая на Володю: — Директору пение не понравилось.

У Володи сразу сделались озорные глаза: в прошлое воскресенье в церкви, когда дьякон провозглашал многолетие царствующему дому, весь его класс вдруг грянул «Марсельезу».

— Ввах! Что тут поднялось! — с азартом вспоминал Ефрем.— Священник метался как угорелый, у дьякона сразу голос пропал, директору чуть дурно не сделалось. Вывели нас из церкви, как стадо паршивых овец, а потом...

Но Ефрему не удалось досказать, что было потом. В парадную дверь тяжело и настойчиво застучали.

— Полиция! — побелевшими губами пробормотал портной.

Все сидели, окаменев.

— Я открою,— раздался Володин слегка прерывистый голос.

Стуча сапогами, в комнату вошли трое: два околоточных и штатский в длинном зеленоватом пальто. Нафабренные усы околоточных торчали, как пики. Зеленый штатский поминутно поправлял галстук и охорашивался.

— Оружие имеете? — простуженно прохрипел один из околоточных.— Приказ командующего округом читали? Надлежит сдать все оружие властям.

Сидящие за столом угрюмо глядели в пол. Встала мать.

— Нет у нас оружия,— сказала она,— обыщите хоть весь дом...

Пока она говорила это, ей на память вдруг пришла берданка мужа. Она совсем забыла о ней! Берданка висела уже несколько лет за дверью в чулане. Что будет, если полиция найдет ее! Смятение матери не укрылось от глаз зеленого.

— Хитров, пошарь малость,— негромко сказал он околоточному.

Мать вспыхнула, потом побледнела.

Околоточные разбрелись по квартире. Зеленый, насвистывая сквозь зубы, прошел в спальню. Возле матери очутился Володя.

— Не беспокойтесь,— шепнул он едва слышно,— они уйдут с носом. Берданки нет.

Мать подняла брови.

— Это я стащил,— продолжал он, торопясь и оглядываясь на спальню,— снес ее к нам в комитет...

— В какой комитет? — не помня себя, выговорила мать.— Что ты говоришь?

— В социал-демократический,— нетерпеливо сказал Володя, досадуя на непонятливость матери.— Разве вы не знаете, что я социал-демократ?

Демосфен

— Володя, генацвале[1], класс выбрал тебя делегатом, понимаешь, делегатом на сходку всех учащихся.

Аполлоша Месхи взволнованно топтался в дверях столовой. Володя, растрепанный, еще не совсем оторвавшись от книги, которую читал, смотрел на товарища рассеянным взглядом.

Володины дни и даже ночи были наполнены теперь новой, совсем особенной жизнью. Стрельба, речи, газеты... Незнакомые понятия и слова. Можно было бы спросить у кого-нибудь из старших, но Володя не хотел, любил добираться до всего сам. Он спал очень мало. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Все книжки были о том же, о революции. В них говорилось, каким должен быть мир без Курхашвили и Мундживевых — тот мир, о котором теперь мечтал Володя.

Аполлоша, между тем, развернул лист бумаги, сплошь исписанный крупными кривыми буквами.

— Это наказ класса,— торжественно сказал он, глядя поверх листа на Володю,— здесь написано все, что класс требует от директора и от учителей.

И он прочел громко:

«Мы требуем, чтобы был смещен учитель Юркевский. Мы требуем, чтобы нам ввели преподавание грузинского языка. Мы требуем, чтобы учителя справедливо относились к экзаменующимся и чтобы учеников экзаменовали в присутствии их товарищей...»

С каждым новым «мы требуем» Володя одобрительно кивал головой. Он сам вместе со всем классом обдумывал эти требования.

— Забыли еще одно,— сказал он, когда Аполлоша дочитал до конца.— Запиши: «Мы требуем, чтобы в стенах гимназии не было ни одного полицейского, ни одного казака...»

Месхи послушно записал.

— Значит, будешь выступать на сходке, генацвале? — спросил он.

— Н-не знаю, может быть,— с запинкой отвечал Володя и вдруг покраснел.

Ему представилась Габаевская гора и толпа гимназистов и гимназисток. На обломке серого камня стоит он, Володя. Все лица обращены к нему, кругом благоговейная тишина, боятся шелохнуться, боятся пропустить хоть одно слово из того, что он скажет. А он говорит горячо и красиво, у него молодое умное лицо и волосы вдохновенно откинуты со лба.

Стать боевым оратором революции — вот о чем мечтал теперь Володя.

[1] Генацвале — милый друг.

— Слыхал ты когда-нибудь о Демосфене? — спросил он Аполлона.

Тот отрицательно покачал головой.

Тогда Володя принес из спальни небольшую книжку, аккуратно обернутую в мраморную бумагу.

— Отец подарил,— сказал он, показывая книгу товарищу,— жизнь Демосфена, знаменитейшего греческого оратора.

Он открыл картинку: хилый человек в тоге стоял на берегу моря, широко разведя руки.

— Это он произносит речь с камешками во рту.

И Володя бегло рассказал Аполлоше все, что знал о Демосфене. Демосфен был косноязычен, у него был слабый голос, и при разговоре он нелепо подергивал плечом. Но он сумел настойчивостью победить в себе эти недостатки.

Греки в древние времена были избалованы хорошими ораторами. От оратора требовали не только содержательности речи, но и мимики, плавных движений рук, пальцев, игры лица во время произнесения речи.

— Демосфен подымался на самые крутые горы и читал громко стихи, чтобы выучиться ясно произносить слова,— рассказывал Володя.— Он упражнялся перед зеркалом в мимике и подвесил к потолку меч. И, когда по привычке подымал плечо, меч больно колол его...

— Ввах! — восхищенно щелкнул языком Месхи.— А ты, генацвале, мог бы так себя мучить, чтобы стать оратором?

— Не знаю,— пробормотал Володя и снова покраснел.

Аполлоша случайно чуть не проник в его тайну. Уже несколько дней Володя ходил на берег Риона и там, набрав в рот камешков, произносил речи.

Когда Аполлоша простился, Володя, предварительно убедившись, что гимназист далеко отошел от дома, потихоньку вышел вслед за ним и отправился на берег. Быть может, завтра на сходке придется выступать. Там будут все старшеклассники, нельзя, чтобы он, самый младший, ударил в грязь лицом.

С этой мыслью Володя спустился к реке. Налево от белого моста, за поворотом, находилось глухое, тенистое, никем не посещаемое местечко, которое он облюбовал для своих упражнений. Здесь кусты держи-дерева спускались к самой воде, и на берег выходили только задние стены домов да заборы.

Володя разулся и разыскал в воде несколько круглых галек.

Такие камни были во рту у Демосфена или крупнее?

Кто мог бы ответить на этот вопрос? Он положил камни в рот.

Как он начнет завтра? «Господа!» или нет, лучше: «Товарищи!»

— Товарищи, мы собрались сюда, чтобы сообща дать отпор насилию...

Ах, как неудобно и неприятно было говорить с этой каменной кашей во рту! Но Володя не хотел уступать Демосфену в настойчивости. Он подымал руки, сжимал кулаки и грозил какому-то неведомому противнику.

Два гуся некоторое время с интересом смотрели на жестикулирующего мальчика, потом занялись своим делом.

Вдруг с откоса к ногам Володи посыпалась земля. Маленькое личико Исидора выглянуло из-за держи-дерева.

— Здравствуй, кацо! — закивал он радостно.— Давно не видались... Да что у тебя горло болит, что ли? — продолжал повар, услышав сдавленный голос Володи.

Нечего делать, пришлось Исидору рассказать все о Демосфене и об упражнениях. Когда Володя сквозь камешки невнятно пролепетал свой рассказ, Исидор вдруг хлопнул себя по коленкам и засмеялся.

— Послушай, кацо,— сказал он, смеясь,— ведь твой грек был косноязычным? Да? А ты чисто, как труба, говоришь. Так зачем же тебе набивать рот камнями?

Володя вспыхнул. Такая простая мысль не приходила ему в голову. Он с благодарностью посмотрел на повара и выплюнул камни.

Конец детства

Только что были слышны стоны отца, его беспорядочный прерывистый бред, его тяжелое дыхание. И вдруг все стихло. Зеркальце с незамутившейся поверхностью лежало на полу: его прикладывали к губам отца. На спинке стула висел старый китель, широкий, обмятый, еще хранящий очертания мощного тела.

Записная книжка в потертом переплете валялась на столе. По страницам шел некрупный, аккуратный почерк отца: распоряжения по лесничеству, какие-то выкладки, записи того, что нужно купить для дома. «Володе карандаши цветные...»

Как знакомы были сыну все эти отцовские «в» и «я», так похожие на его собственный почерк! Живые буквы бежали по бумаге, а рука, писавшая их, неподвижно и тяжело покоилась на одеяле.

Это стряслось неожиданно. В пятницу утром приехал из Багдади отец. У него был хриплый голос и воспаленное лицо.

— Рука болит,— кратко сказал он сыну.

Накануне он подшивал деловые бумаги и уколол иголкой палец. Палец разболелся. Он пошел в багдадинскую больницу. Там ему сделали прорез, но боль усилилась. С трудом добрался он до Кутаиса.

— Заражение крови,— определили врачи.

Это был смертный приговор. Еще говорили что-то об операции, об ампутации руки, но было уже поздно: заражение успело переброситься на мозг.

Отец метался на тахте, голова его пылала. В минуты просветления он звал Люду. Старшая дочь должна была приехать из Москвы, ее ждали со дня на день.

Володя бродил по дому, словно потеряв что-то очень нужное: он то бросался помогать и приносил какие-то бесполезные вещи, то, как слепой, натыкался на беспорядочно разбросанную мебель.

В дырявом ведре валялись пустые пузырьки и желтели рецепты. В кастрюлях кипятилась вода. В гостиной сгорбленная Оля колола лед, не обращая внимания на ледяные брызги, летевшие во все стороны. Во всех этих мелких подробностях Володя чувствовал несчастье, смерть.

В воскресенье отца не стало. Открыли настежь все окна. Был февраль, щебетали птицы, на улице копошился беспечный ребячий говор, и от этого еще страшнее казалась в доме совершеннейшая тишина.

Володя еще не мог понять, как это так: отец дома — и вдруг не слышно его гремящего голоса, не звенит жалобно посуда в буфете, не стонут половицы под тяжелой — на всю ступню — отцовской походкой?!

Ему захотелось еще раз взглянуть на отца.

Лесничий лежал очень прямой, в парадном сюртуке с погонами, будто ему предстояло ехать к начальству. Он был хмур, суровые тени темнели у него под глазами. Это был человек с чужим и торжественным лицом. Не он улыбался Володе, не он пел «Ой, вы хлопцы-баламуты». И всем своим существом Володя чувствовал: отца больше нет, никогда не будет.

Кто-то шевельнулся рядом с ним. Мать. Она тоже не сводила глаз с мертвого лица. Володе впервые пришло в голову, что он теперь единственный мужчина в семье. И он сильно и нежно обнял мать.

К вечеру дом наполнился народом. Из Багдади приехали объездчики: Коция Джапаридзе и Симон Сванидзе. В столовой громко рыдала Оля. Тетя Анюта с красными, как от сильного ветра, глазами суетилась по хозяйству. Пришли сослуживцы отца, семья Андриадзе, родственники... Не было одного Ефрема: он уехал к дяде в Абас-Туман. В тихом гуле разговоров Володя ловил похвалы отцу: его называли добрым, умным, справедливым.

Весь день Володя ходил с пустым и тяжелым сердцем. Кругом все плакали — он не мог. Иногда ему казалось, что хорошо было бы убежать, забиться куда-нибудь, чтоб никто не видел и не слышал, и там немножко повыть. Но тут же он вспоминал, что распускаться нельзя, что он единственный мужчина в семье и что отныне он дол-

жен быть стойким и мужественным, как отец. Тогда он бежал покупать свечи и покрывало на гроб и ездил выбирать место на Орпирском кладбище.

Совсем уже поздно, ночью, когда в доме остались только самые близкие и ветер колыхал пламя свечей вокруг гроба, раздался тихий стук. Володя отворил дверь. На крыльце в мохнатой, доходящей до пят бурке стоял Ефрем. Он задыхался от быстрой ходьбы и волнения.

— Ефрем! — закричал Володя.— Ефрем! Как ты мог, как ты смел так опоздать!

Он приблизил свое лицо к Ефрему, и гимназист отшатнулся — так изменилось это лицо. Он оставил Володю беспечным, мечтательным мальчиком. Теперь перед ним стоял юноша с тяжелой складкой на лбу и усталым ртом.

— Как ты мог, как ты смел! — продолжал почти бессмысленно повторять Володя, и вдруг что-то прорвалось в нем, и слезы брызнули из глаз. Слезы текли, и он их не утирал, будто руки у него были заняты, хотя он ничего в них не держал. Они были сжаты в кулаки порывисто и упрямо, словно он готовился сражаться с самой судьбой.

И Ефрем чувствовал себя маленьким и беспомощным перед силой этого горя.

Лесничего похоронили на Орпирском кладбище. После похорон у семьи осталось три рубля. Из Большого дома пришлось перебраться к Андриадзе. Туда перевезли тахту, на которой умер отец. Остальную мебель распродали. Семья была словно оглушена горем. Все делалось лихорадочно, почти бессознательно. Что теперь будет с ними? Куда они денутся? Никто — ни мать, ни дети — не мог бы ответить на этот вопрос.

Приехала Люда, самая сильная, самая энергичная из всей семьи.

— Мы должны все ехать в Москву,— твердо сказала она.

Зачем? Даже знакомых в Москве не было. Но Люда не думала о том, что и как будет в Москве. Ей просто хотелось поскорее увезти семью из города, с которым отныне было связано столько тяжелого.

Брат беспокоил ее: он стал такой угрюмый и неровный. Услыхав об отъезде, он оживился, начал укладывать книжки и с недоумением глядел на Олю, которая жаловалась, что ее разлучают с Кавказом.

Нет, теперь Володя ни за что на свете не остался бы в Кутаисе! Россия, путешествие, Москва — все это было так близко, почти осязаемо, и, проходя мимо вокзала, он уже без зависти смотрел на поезда: один из них вскоре повезет и его.

Провожать семью поехала вся Гегутская бригада. Все были молчаливы и грустны. Семья не знала, что ждет ее на новом месте. Маль-

чикам было жалко расставаться с Володей, они все крепко к нему привязались. Ефрем тоскливо глядел на Олю.

Но вот и станция Рион. Пора прощаться. Лица заплаканы. Друзья стискивают друг другу руки.

— Счастливого пути, генацвале!

Володе душно среди полосатых диванов. Он высовывается в окно вагона.

Кончилась изумрудная и голубая долина Риона. Кончились горы.

Кончилось детство.



ЧАСТЬ III
МОСКВА

Путешествие

Володя то стоял у окна вагона, то бегал на станции покупать арбузы, вступал в разговор с пассажирами и все время был в необыкновенном возбуждении. Вот оно, путешествие, о котором он так долго мечтал!

«За Тифлисом начались странные вещи: песок сначала простой, потом пустынный, без всякой земли и, наконец,— жирный, черный. За пустыней — море, белой солью вылизывающее берег. Ночью начались дикие строения — будто вынуты черные колодезные дыры и наскоро обиты доской. Строения обложили весь горизонт, выбегали навстречу, взбирались на горы, отходили вглубь и толпились тысячами. Когда подъехали ближе, у вышек выросли огромные черные космы, ветер за эти космы выдрал из колодцев огонь, от огня шарахнулись тени и стали качать фантастический вышечный город. Горело в трех местах. Даже на час загнув от Баку к Дербенту, видели зарево»,— так вспоминал он потом начало пути в Россию.

В Дербенте торговцы, похожие на Али-Бабу и сорок разбойников, совали в вагон корзины с фруктами.

Потом промелькнул мост через Дон, потянулась степь, подсолнухи стояли, как войско, повернув головы к командиру — солнцу. Торопливо отбегали назад белые хатки, журавли колодцев...

— Когда же Россия? — нетерпеливо спрашивал Володя.

И вот поезд идет уже среди лесов и серых избушек. Колышется рожь, голубеют васильки, потом снова деревни, колодцы, монастыри. И вдруг Люда говорит:

— Пора складываться, скоро Москва.

Но Москва все еще ускользала от Володи: семья решила остановиться у знакомых Люды в Петровском-Разумовском. До Москвы отсюда было шесть верст, и в город ходил паровик — маленький, словно игрушечный, локомотив с тремя вагончиками.

Володя от нетерпения не знал, за что взяться: скорей, скорей разложить все вещи — и в город! Ему казалось, что все невыносимо долго копаются и ведут какие-то ненужные разговоры. Наконец, он не вытерпел.

«Пойду один, пешком»,— решил он про себя.

Так вот она какая — Москва! Долговязый смуглый подросток жадно глядел вокруг. Все казалось ему новым и удивительным.

Дома тесно лепились друг к другу, улицы были кривые, узкие, то и дело высились церкви, тяжело и густо звонили колокола. У заставы лошади везли двухэтажные конки, и наверху смешно, как шляпки грибов, торчали картузы пассажиров.

Володя дошел до пыльно-зеленого бульвара, повернул наугад влево и вышел на какую-то площадь. Отсюда улица подымалась круто в гору. Конки останавливались, и кучера впрягали еще одну пару лошадей, чтобы втащить конку на гору.

На этой же площади продавали собак и птиц. Володя долго стоял перед ученым черным пуделем, который ходил на двух лапах и даже курил цигарку. Как хотелось ему купить этого пуделя! Он вспомнил Угрюма, Халису и других собак... На минуту ему стало грустно. Но он тут же стряхнул с себя грусть: ведь впереди было так много нового, интересного!

Поднявшись на гору, Володя повернул в улицу, полную лавок. И тут его оглушил разноголосый крик. Возле каждой лавки стоял зазывала и расхваливал свой товар:

— А вот подходи — брюки хороши, что налицо, что наизнанку — один бархат!

— А вот новые полсапожки!..

— Пожалте-с, у нас покупали! Поддевочки-с,— схватил Володю за рукав зазывала.

Еле-еле удалось ему вырваться. Чуть не бегом пустился он мимо лавок в какую-то тихую боковую уличку.

Тут никто не кричал и не тянул его за рукав. По сторонам стояли высокие в четыре-пять этажей каменные дома. В подъездах дремали седые швейцары. Володя заглянул в один подъезд и увидел лифт, который легко скользил вверх. До сих пор он только читал о лифтах. Блестящими глазами смотрел он на замечательную машину.

— Вам на который? — спросил его швейцар.

— На пятый,— храбро соврал Володя, чтобы только прокатиться в лифте.

Он поднялся в лифте на пятый этаж. Там была открыта дверь в квартиру, и какой-то черный человек с бородой и усами говорил по телефону. Володя с завистью поглядел на него (ему еще некому было звонить) и по лестнице спустился на улицу.

Над булочными блестели на солнце золотые кренделя, а над сапожными мастерскими висели железные сапоги. Володе это так понравилось, что ему захотелось нарисовать и кренделя, и сапоги, и вообще всю улицу с пешеходами и лошадьми.

Красный, звенящий, как пляшущий индеец, пробежал трамвай. Он был новинкой даже для Москвы, и многие, как Володя, провожали его глазами.

Теперь он вышел, по-видимому, к самому центру.

В глаза ему сразу полезли разноцветные рекламы на домах: корсеты, трости, цилиндры. Какая-то красавица с волосами до пят мыла голову мылом «Красота» и объясняла, что мыло это можно купить в магазине «Раллэ и компания».

Потянулись магазины с цельными зеркальными стеклами, большие дома. Навстречу Володе попадались нарядные женщины в огромных шляпах с перьями, мужчины в котелках и панамках.

У Большого театра, на пустынной площади, которая служила плацпарадом, какое-то чудовище на колесах чуть не наехало на Володю. Внутри чудовища очень высоко сидели два человека в смешных маленьких шапочках. Чудовище захрипело, сердито залаяло и скрылось в клубах черного вонючего дыма.

Володя, потрясенный, глядел ему вслед. Автомобиль! Настоящий автомобиль! Наконец-то он увидел его собственными глазами!

На откормленных рысаках проехал заросший до глаз бородой купец в синей поддевке и картузе с лакированным козырьком. Кучер на козлах был под стать хозяину: квадратный, толстый, как умывальник, с пузырящимися рукавами малиновой рубахи и в шапочке с павлиньими перьями.

— Э-эп! — покрикивал он, и народ рассыпался в разные стороны.

Володя поглядел на тупое, сытое лицо купца, и его разобрала злость. А что, если вспрыгнуть на подножку да дернуть его за бороду? Или крикнуть что-нибудь неожиданное, вроде: «Эй ты, пухлая морда»!

Вот избесится! И Володя, представив себе, как будет ругаться купец, засмеялся.

Вечерело. Пора было возвращаться домой, в Разумовское, но оставалось еще главное, то, ради чего Володя пешком отправился в город.

— Как пройти на Пресню? — спросил он какого-то прохожего.

Тот объяснил, и Володя поспешно зашагал в указанном направлении.

Наконец-то он увидит Пресню, ту Пресню, где рабочие боролись за свободу, где еще в прошлом году на баррикадах умирали лучшие революционеры!

Чем дальше отходил он от центра, тем грязнее становились запутанные, мощенные булыжником улицы. Тут уж не было рысаков: унылые извозчики-ваньки в рваных армяках дремали на углах, и вместе с ними дремали их дряхлые, чахоточного вида лошади.

Засаленные торговки сидели прямо на мостовой возле своих горшков, из которых подымался вонючий пар.

— Печенка-селезенка горячая! Стюдень коровий!

Он миновал Пресненские пруды, карусели и балаганы, где гуляет по праздникам рабочий народ.

Вдали показались закопченные фабричные трубы. Вот она, Пресня! Володя глядел во все глаза, ища следы революционных боев.

Дома здесь были хоть и каменные, но самого трущобного вида: сводчатые ворота с идущими под землю лестницами; подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками. В промозглых дворах — рабочие казармы Трехгорки и других фабрик. Вот окна с выбитыми стеклами. А вот следы пуль на доме...

И дальше, за мостом, чернеют обугленные развалины.

— Фабрика Шмидта,— сказал Володе прохожий и добавил почти шепотом: — В прошлом году здесь много народу полегло.

Посреди улицы валялась полусгоревшая вывеска, на которой еще видны были остатки букв.

— «Полиц...ение»,— прочел Володя вслух.

Какой-то рабочий в картузе прошел мимо. На секунду глаза их встретились. Володе показалось, что рабочий многозначительно и хмуро кивнул.

На тротуаре оборванные хилые ребята играли в бабки. Высокий мальчик в лохмотьях, накинутых на голое тело, протянул к Володе руку:

— Подайте милостыньку...

Володя сунул руку в карман и вспыхнул. Он вспомнил, что денег там нет и не может быть. Но оставался еще кусок кутаисской чурчхеллы. Он сунул ее мальчику:

— На, ешь. Это вкусно.— И быстрыми шагами ушел.

В Разумовском его уже ждали мать и сестры, усталые, разочарованные: Москва встретила их, как злая, скаредная хозяйка. Квартиры были дрянные, еда стоила дорого, ученье тоже. На заработок почти не было надежды.

— Может, вернемся назад, в Кутаис? — нерешительно сказала мать.

Володя вскипел:

— Ну, нет, я отсюда не уеду!

Мать поняла: спорить бесполезно. Он все равно останется в Москве, даже если все они уедут. Большой, шумный город — вот что нужно ее упрямому сыну, нужней, чем горы, чем леса, чем самый воздух.

Мальчик на диване

В углу сидел вихрастый, большеротый мальчик в старой гимназической куртке и коротких, не по росту, брюках. Студенты опасливо покосились на него.

— Не бойтесь, это сын хозяйки, Володя, свой,— сказал Васо.

Васо, кудрявый смуглый грек из Кутаиса, был жильцом семьи лесничего.

Люда с матерью сняли квартиру на углу Козихинского переулка. На Козихе жила студенческая беднота.

> Есть в столице Москве
> Один чудный квартал,
> Он Козихой Большой прозывается.
> От зари до зари,
> Лишь зажгут фонари,
> Вереницей студенты там шляются,—

пели студенты неизвестно кем сочиненную песенку.

В Москве семье приходилось все туже и туже. Володя и Оля поступили в гимназию — надо было платить за их обучение. Люда тоже еще училась живописи. Мать получала пенсию — десять рублей в ме-

сяц. Жить вчетвером на эту сумму было невозможно. Пришлось сдать одну из трех комнат.

На окне вывесили билетик: «Сдается комната одинокому». В тот же день пришел долговязый студент в выгоревшей фуражке блином и черной косоворотке. Студент всмотрелся в Люду:

— Как будто я вас где-то видел. Вы москвичка?

— Нет, мы из Кутаиса...

— Вот так штука! — обрадовался долговязый.— Ведь и я тоже кутаисский... Нет, теперь уж я от вас не уйду!

Так Васо поселился в семье лесничего. Комната, которую ему показали, была очень скромная: стол, два стула, постель, диван.

Мать спросила его:

— Не может ли мой Володя жить у вас? А то в наших комнатах ему с его инструментами тесно.

Васо позволил и потом совершенно забыл об этом разговоре.

Вечером, вернувшись домой, он с удивлением увидел лежащую на диване человеческую фигуру, закутанную с головой в одеяло. Кто это? Васо уже собирался растолкать непрошеного гостя, как вдруг из-под одеяла появились растрепанные вихры и заспанная мальчишеская физиономия.

— Спокойной ночи,— сказал петушиный голос.

— Тебя зовут Володя? — спросил студент, вспомнив разговор с хозяйкой.

— Угу,— отвечали ему из-под одеяла.

Васо на цыпочках прошел к своей постели.

У окна ему бросился в глаза стол, которого он не заметил накануне. Он принялся с любопытством разглядывать вещи на этом столе: ему хотелось по вещам составить себе представление о мальчике на диване.

Ящик с красками, кисти, карандаши, лобзик для выпиливания, аппарат для выжигания по дереву, рубанок, клей, несколько книг по естествознанию. Тут же лежало деревянное яйцо, на котором высыхал начатый рисунок: девушка в кокошнике несет на коромысле ведра. Студент снова поглядел на фигуру под одеялом: — Художник...

Жилец и мальчик быстро подружились. Володя часто по целым часам клеил, выпиливал, выжигал полочки, рамки, разрисовывал деревянные яйца. Яйца заказывал кустарный магазин. Нужно было сначала почистить каждое шкуркой, карандашом перевести на него рисунок, выжечь этот рисунок, а потом раскрасить и покрыть лаком. Дерево было сырое. Яйца вертелись и скрипели, как двери. От выжигания в комнате стоял удушливый дым. И за каждое яйцо кустарный магазин платил всего десять-пятнадцать копеек.

Володя, сморщившись от напряжения, рисовал каких-то овечек,

птиц, бояр. Он ненавидел эти яйца, но Люда твердила, что нужны деньги, а мать в Москве сделалась как-то меньше ростом и тише. И Володя готов был хоть все ночи напролет разрисовывать и выжигать, лишь бы принести домой два-три рубля.

К жильцу почти каждый вечер приходили товарищи-студенты. После революции 1905 года полицейский сапог еще тяжелее давил страну. Стоило полиции найти у студента книгу Ленина или Маркса, как этого студента немедленно арестовывали и ссылали.

У Васо под видом именин собирались студенты-большевики. На столе — колбаса и пиво, под столом, на коленях,— запрещенные книги. Говорили, курили, спорили. Сквозь шум спора прорывались слова «революция», «пролетариат», «свобода».

Сжавшись в углу, стараясь быть незаметным, Володя исподлобья глядел на спорящих. Демосфен? Нет, он больше не увлекался красноречием. Ему хотелось уже не слов, а дела. Студенты смотрели на него, как на ребенка, а он мечтал только об одном: поскорее вырасти и доказать им всем, на что он, Володя, способен.

Раз он увидел у жильца тоненькую книжечку в синей обложке. Книга была срезана до самых букв.

— Что это? Зачем? — спросил он студента.

— Книга Ленина,— объяснил Васо.— А обрезана так, чтобы удобнее было нелегально просовывать ее людям.

Володя, косясь на студента, буркнул:

— Можно мне... почитать?

Васо с удивлением поглядел на мальчика:

— Возьми, пожалуй... Только ты вряд ли поймешь.

Но Володя, схватив книгу, уже бежал. Больше он не спрашивал у студента разрешения: он брал книги сам и читал — глотал их, как голодный человек, который никак не может насытиться.

Ему шел четырнадцатый год, и он уже хорошо понимал, что мир разделяется на тех, кто трудится, и тех, кто пользуется этим трудом.

Мать дала ему пять рублей и послала в лавку за керосином. В лавке ошиблись, дали сдачи четырнадцать рублей пятьдесят копеек.

Володя чуть языком не щелкнул по грузинской привычке: сколько вкусного можно купить на эти деньги, сколько раз можно пойти в синематограф, в зоологический! Но что-то внутри говорило ему, что так поступать нечестно. Он два раза обошел магазин. Маленький приказчик стоял у прилавка. Володя нагнулся к нему.

— Скажи, кто обсчитался — хозяин или служащий? — спросил он шепотом.

— Хозяин,— таким же шепотом отвечал приказчик, кивая на белесого лавочника.

Ура, теперь Володя может без угрызений совести тратить десять рублей!

И вот он уже стоит в кондитерской и жадно разглядывает выставленные лакомства. Пирожные? Нет, это для тех, кто сытно обедает. Володя предпочитает что-нибудь посновательнее, например, цукатный хлеб. Он купил целых четыре хлебца и сразу их съел.

На каникулы Васо уезжал домой. Перед отъездом Володя хотел подарить студенту что-нибудь на память.

Он тщательно сделал большую рамку, изобразил на ней башни Кремля и внизу выжег подпись: «Вол. Маяк».

В свою очередь и Васо подарил ему несколько книг. Володе очень хотелось попросить у него синенькую книжку Ленина, но, видя, как бережно засовывает ее студент в подкладку чемодана, не решился.

Прошло несколько месяцев. Студент снова приехал в Москву и зашел к своим старым хозяевам. Ему отворила мать. У нее, как всегда, было спокойное, суховатое лицо.

— А где Володя? — первым делом спросил Васо.

— Его нет,— отвечала мать.

Что-то в ее голосе заставило пришедшего насторожиться.

— Где же он?

— Володя арестован,— сказала мать.

Арест

Они ждали долго. У одного городового, сидевшего за шкафом, онемели ноги, другому хотелось курить. Но околоточный строго-настрого приказал никуда не отлучаться и стеречь, если понадобится, хоть до следующего дня. Он сказал городовым:

— Сюда должны явиться товарищи этого Трифонова. Смотрите, если прозеваете, шкуру с вас спущу.

И они ждали, тяжело скучая и прислушиваясь к каждому звуку. В комнате, где они прятались, все было перевернуто вверх дном: с постели сорваны одеяло и простыни, из распоротого матраца торчали пружины, по полу разбросаны книги и обрывки газет.

Полиция получила сведения, что в Ново-Чухнинском переулке, в квартире портного Лебедева, находится подпольная типография революционеров. Типографией заведует известный социалист Тимофей Трифонов, который скрывается под фамилией Жигитов.

Ночью полицейские явились с обыском.

Старик-портной дрожал и крестился:

— Ничего не слыхал, ничего не видал, ни о какой типографии не слыхивал...

Жильца не было дома. В его комнате полицейские нашли в бельевой корзине заготовленные гранки прокламаций и типографский шрифт.

Околоточный обрадовался:

— Ого, мы напали на гнездо! Сейчас прилетит и птичка...

Трифонов вернулся на рассвете. Это был молодой белокурый человек с усталыми, хмурыми глазами. Когда его окружили, он досадливо поморщился:

— Эх, что бы мне на десять шагов раньше увидеть околоточного! Я бы уж не попался вам в лапы...

Трифонова давно увели. Близок полдень, а городовые все сидят и сидят в засаде. Ждут, что еще какой-нибудь «преступник» явится в типографию.

За окном шаги. Срывающийся молодой голос поет:

Плохой тот мельник должен быть,
Кто дома хочет вечно жить,
Все дома да дома...
Все дома да дома...

Полицейские наготове. Едва в дверях появляется человек, на него набрасываются, скручивают ему руки. В комнате слышно только тяжелое хрипение городовых. Человек молча борется, он хочет вырваться, но сила не на его стороне.

— Ишь ты, да ведь это мальчишка! — с удивлением говорит городовой, разглядывая пленника.

Действительно, это мальчик, или, вернее, подросток, в длинном черном пальто и черной папахе, с недетски серьезным лицом.

Входит околоточный. Городовые рапортуют:

— Вот, вашбродь, задержали этого...

Мальчик молчит и отворачивается. В борьбе у него разбита губа, сейчас он ее закусил, и от этого еще резче выражение упорства на его лице.

— Кто такой? Как зовут? — спрашивает околоточный.

— Владимир Маяковский,— бормочет подросток.

— Зачем сюда явился?

— К портному...

Из-за двери выскакивает рыжий мальчишка.

— Врет, все врет, вашбродь! — кричит он.— Этот парень вовсе не к нам пришел. Он к жильцу ходил. Прошлый раз, когда я у двери стоял, он мне лоб расшиб, я его знаю.

— А ты что у двери делал? Подглядывал? — спрашивает околоточный.

Рыжий мальчишка вдруг как-то линяет и молчит. Околоточный подходит к арестованному:

— Позвольте ваш сверточек...

Володя хмуро отдает сверток, который он до сих пор крепко прижимал к себе. В свертке пачка революционных прокламаций и подпольные газеты.

— «Не бойтесь нарушить присягу,— громко читает околоточный газету,— вы присягали отечеству и царю, думая, что он друг отечества, но он враг его, и вы должны выбирать — либо за родину, либо за царя... Идите, товарищи, за родину вместе с народом, организуйтесь сначала в кружки, потом в союзы, чтобы, когда восстанет народ, силою своей не во вред, а на пользу ему послужить».

Околоточный держит газету двумя пальцами, осторожно, словно ядовитую змею.

— Так-с,— говорит он,— теперь я вижу, с каким материальчиком вы приходите к портному... Придется вас, молодой человек, отправить... на казенные хлеба...

И вот они идут: двое городовых и посредине большеротый, костистый подросток. Володя отлично понимает, что его ведут в тюрьму. Горит губа, но ему сейчас не до этого. Одна мысль вертится у него в голове. В тюрьме его будут обыскивать. Найдут в кармане блокнот с адресами и фамилиями членов организации. Нужно уничтожить блокнот. Во что бы то ни стало!

Володя искоса смотрит на городовых. Они шагают, не глядя на него, отупев от бессонной ночи.

Тогда он потихоньку лезет в карман и ощупью отрывает несколько листиков блокнота. Комкает и быстро сует их в рот.

Бумага, даже когда ее едят натощак, не кажется вкусной; Володе сводит скулы от отвращения, но он старательно жует. За первой порцией следует вторая, за второй — третья. Володе кажется, что желудок его разорвется от бумаги...

Но вот съеден последний листок. И, когда охранники в части начинают обыскивать Володю, он про себя усмехается: «Ищите, ищите, голубчики, самое интересное для вас у меня в желудке!»

У следователя

— Введите арестованного!

Следователь по особо важным делам Вольтановский был сухой старик с пергаментным лицом и водянистыми, рыбьими глазами. Да и весь он, в своем зеленоватом вицмундире, напоминал какую-то злую, старую рыбу.

Сравнение это невольно пришло в голову арестованному — Володе Маяковскому.

Следователь устремил на него тяжелый взгляд.

— Имя?

— Владимир Маяковский.

— Сколько лет?

— Четырнадцать.

Вольтановский поднял брови. Ему впервые приходилось иметь дело с таким молодым «политическим». А, между тем, у этого мальчика нашли семьдесят шесть экземпляров подпольной газеты и почти столько же прокламаций. И околоточный сообщал, что в части он вел себя очень дерзко и шумно...

Впрочем, арестант, наверное, лжет. Не может быть, чтобы ему было только четырнадцать лет. Вон он какой рослый, здоровенный парень...

Следователь продолжает допрос:

— Женат или холост?

Володе становится смешно.

— Хо-холост,— отвечает он, еле удерживаясь от смеха.

— Расскажите мне все, что вам известно по делу о подпольной типографии и о революционере Трифонове, который именовал себя Жигитовым,— говорит следователь.

— Пожалуйста,— с готовностью отвечает арестант.— Так вот, значит, в мае прошлого года я гулял с товарищами...

— С кем именно? — перебивает следователь, схватив перо.

— Не помню с кем,— Володя морщит лоб, делая вид, что припоминает; потом разводит руками: — Нет, никак не могу припомнить... Ну, гулял с ними и тут познакомился с одним молодым человеком...

— Постойте,— снова перебивает следователь,— расскажите, при каких обстоятельствах вы с ним познакомились.

— К сожалению, и этого не помню,— почти насмехается арестованный.— Память у меня, знаете, такая странная...

Следователь стукнул кулаком по столу:

— Память странная! У всех у вас такая странная память! Я эти штучки знаю, молодой человек, вы меня не проведете...

И он от злости закашлялся так, что чуть не задохнулся.

Володя Маяковский спокойно ждал, пока у следователя пройдет кашель.

— Рассказывайте дальше,— прохрипел, наконец, Вольтановский.— Как была фамилия этого молодого человека? Жигитов, разумеется?

— Своей фамилии он мне не называл, да я этим и не интересовал-

ся,— отвечал Володя.— Кто такой Жигитов, я совсем не знаю, и никогда о нем не слыхал...

— «Не знаю», «не слыхал», «не интересовался», «не помню»... это что за ответы? — закричал вдруг Вольтановский.— Вы что здесь — балаган устраиваете, молодой человек? При аресте у вас находят сверток революционных прокламаций, а вы из себя дурочку разыгрываете! Я вас выведу на чистую воду, не беспокойтесь...

— Какая там чистая вода! Здесь только в мутной воде рыбу ловят,— пробормотал сквозь зубы арестованный.

Крик следователя ничуть не испугал Володю. Лицо его оставалось спокойным и упорным. Темная прядь волос свешивалась на лоб.

Вольтановский, между тем, нервно перебирал бумаги. Дело о типографии в глазах полиции было «особо важным»: оно доказывало, что большевистская партия не прекращает своей работы.

Среди «вещественных доказательств», найденных в подпольной типографии, был обрывок бумаги с начатой революционной прокламацией. Следователь подозревал, что именно этот мальчик, стоящий перед ним, был автором прокламации. Надо было сличить почерк. Он сказал арестованному:

— Я вам продиктую, а вы запишите. Начинайте: «К Российской социал-демократической рабочей партии я никакого отношения не имею».

Володя старательно писал, склонив голову набок и положив оба локтя на стол. Он сразу догадался, зачем следователь заставляет его писать этот диктант.

— Написали? — нетерпеливо спросил Вольтановский.— Покажите.

Он схватил обеими руками исписанный лист, и сразу на лице его выразилось разочарование и смущение. По всей странице шли кривые детские каракули. Арестованный писал безграмотно, с кучей ошибок. Слово «социал-демократической» было написано так: «социял-димокритический».

Нет, нет, такой горе-писака не мог быть автором революционной прокламации, да и почерк там был совершенно другой!

Вольтановский швырнул листок в сорную корзину. Он окончательно расстроился. День был неудачный.

— Уведите арестованного,— сказал он резко.

Через минуту в коридоре кто-то запел громко и насмешливо:

Плохой тот мельник должен быть,
Кто дома хочет вечно жить,
Все дома да дома...
Все дома да дома...

Под надзором полиции

Через несколько месяцев Владимир Маяковский должен был предстать перед судом по делу о подпольной типографии. С него взяли подписку, что без ведома полиции он никуда выезжать не будет, и как несовершеннолетнего отпустили под ответственность матери и старшей сестры.

Он пришел домой похудевший, но веселый и гордый. Ведь он получил боевое крещение: теперь он мог считать тебя настоящим революционером-подпольщиком!

Мать и сестры радостно суетились вокруг него. Втайне они им гордились.

— А у нас тут без тебя обыск был,— сообщила мать.— Только мы сыщика с носом оставили! — И она совсем по-девчоночьи фыркнула.

— Ничего не нашли? — Володя вспомнил, что в комнате у него оставалась пачка нелегальных книжек.

— Ты думаешь, я о них забыла? — сказала Оля.— Как только ввалилась к нам полиция, я сейчас же в твою комнату. Люда отвлекает внимание, разговаривает с сыщиком, мама делает вид, что ищет ключи, а я тем временем связала книжки да на веревке спустила из окна на крышу соседнего дома. Можешь теперь за ними слазить.

— Молодцы вы у меня, а товарищ мама самый большой молодец! — сказал Володя, гладя мать по голове. И этот жест, ласково-покровительственный, вдруг показал сестрам и матери, как вырос Володя.

Постепенно все заметили в нем перемену: Володя стал серьезнее, как-то увереннее в себе, самостоятельнее. Теперь к нему ходили какие-то незнакомые люди в картузах и черных косоворотках. Он подолгу шептался с ними в коридоре, потом уходил, возвращался поздно, иногда ночью. Эта неведомая, таинственная жизнь беспокоила мать и сестер, но они не расспрашивали Володю. Его упорство было им хорошо известно — он все равно ничего не скажет и поступит по-своему.

— Вы, мама, должны взять меня из гимназии,— сказал он матери.— Узнают, что я был арестован, выгонят с волчьим билетом.

Это был серьезный довод, но мать все-таки огорчилась.

— Все товарищи учатся, все хотят стать людьми, а ты, что же, предпочитаешь остаться неучем?

— Погодите немножко, мамочка,— убеждал Володя,— я все нагоню после, обещаю вам. А сейчас время для гимназии неподходящее, не греческому и не латинскому надо учиться...

Мать скрепя сердце подала прошение в гимназию: просила освободить сына под предлогом болезни.

Теперь Володя мог без помехи отдаться революционной работе. И правда: как мог он спокойно спрягать латинские глаголы, когда кругом, как нарочно, происходили страшные вещи!

У Маяковских снимал комнату тонкий, похожий на девушку, студент. К нему пришли с обыском, увели и вскоре повесили.

В той же комнате поселился другой жилец, тихий, молчаливый человек. Спустя несколько дней он исчез. Заявили в полицию — оказалось, он бросился под поезд. После приезжала его сестра и рассказала, что он очень нуждался и не мог найти работу.

Эти люди жили рядом, за стеной. Володя видел их каждый день, и гибель их тяжко его поразила. Проходя мимо закрытой двери, он хмурился и засовывал руки в карманы, как будто ему не терпелось сжать кулаки.

Когда Оле попала в руки иголка и переломилась на три части, все совершенно растерялись: после смерти отца для семьи не было ничего страшнее иголок и булавок. Нужна была немедленная операция.

Володя помчался за извозчиком. Олю привезли в лечебницу. Оказалось, операция стоит пять рублей.

Пять рублей? Мать и дети стояли растерянные, побледневшие. Что делать? В конце месяца мать должна получить с жильцов пятнадцать рублей. А сейчас в доме нет ни копейки. Значит, сестра должна погибнуть?

Володя первый пришел в себя:

— Бежим, может, займем где-нибудь.

Вместе с Людой он побежал по таким же беднякам, как они сами. Оля плакала, жалобно повторяя:

— Может, не надо, ведь это очень дорого.

Наконец, приехала Люда. Ей удалось достать пять рублей, и операция сошла благополучно.

Этот случай тоже надолго запомнился Володе.

И он невольно вспоминал только что прочитанных Маркса и Ленина: они требовали для всех, кто трудится, бесплатного лечения.

Семье жилось все трудней. Часто не хватало даже пяти копеек на конку, и Володя в любую погоду шагал пешком по городу.

Люда вставала на рассвете и уходила работать. Она кончала Строгановское училище живописи и, чтобы хоть немного помочь матери, бралась за все, что подвернется. Ей предложили реставрировать на кладбище надгробную часовню. С утра до темноты она стояла на лесах в сыром склепе, и с кладбища до нее доносилось похоронное пение.

Мать неслышно сновала по дому и, не жалуясь, не сердясь, управлялась с хозяйством, каким-то чудом сводила концы с концами. Ухитрялась устроить так, чтобы всем возле нее было хорошо и удобно.

Утром, проснувшись, Володя осторожно спрашивал:

— Как насчет чаю?

Если мать отвечала, что чай на столе, он решался спросить еще о двух совершенно необходимых вещах:

— А масло и чистая рубашка?

И почти всегда оказывалось, что мать позаботилась обо всем и для Володи уже приготовлены и масло и чистая рубашка.

— Другой такой мамы на свете нет! — громко провозглашал Володя.

Он все крепче любил мать и, становясь взрослым, все больше удивлялся ее сдержанной внутренней силе и мужеству.

Не глядя, проглатывал он свой завтрак, на ходу читал газету и исчезал. Теперь все его время принадлежало партии.

В рваных башмаках под проливным дождем мчался Володя из одного конца Москвы в другой с каким-нибудь партийным поручением. То надо выступать у булочников Филиппова, которые бастуют, то провести собрание в чайной среди рабочих, то передать на завод пачку нелегальных книжек...

И за подростком в черной папахе всюду неслышно скользили безличные тени в пальто горохового цвета: охранка продолжала им интересоваться. В московской организации большевиков молодого Маяковского называли «товарищ Константин», а в донесениях охранки он носил кличку «Высокий».

«Высокий» в 8 ч. 45 м. утра пошел в булочную по Тверской улице, где купил булок, и вернулся домой. Вторично вышел из дому в 10 ч. 40 м. с неизвестным молодым человеком, и пошли в дом Перетц по Триумфальной-Садовой во двор...»

Так доносили филеры[1] в охранку.

Когда семья переехала на дачу, и туда явилась полиция. Городовые устремились в комнату «Высокого».

У Володи в эту ночь ночевал знакомый гимназист. Оба уже спали.

— Что такое? Кто там? — спросил Володя, разбуженный шумом.

— Как? Вас только двое? И вы спите? — протянул разочарованно городовой.

— А вам сколько надо? — спросил Володя и, повернувшись на другой бок, снова заснул.

---

[1] Филер — сыщик.

«Побег тринадцати»

Из Володиной комнаты шел сильный запах смолы: три человека смолили толстый канат. В комнате матери стучала машинка: мать и Оля второй день шили из тонкого коричневого сатина тринадцать гимназических платьев.

И канат и платья нужны были для побега тринадцати революционерок из Новинской женской тюрьмы.

Весной 1909 года в Новинскую тюрьму в Москве привезли новую заключенную — большевичку Нину Морозову. Она была приговорена за революционную работу к пяти годам каторги.

Товарищи Нины, московские студенты, решили во что бы ни стало освободить ее из тюрьмы. Но Морозова сидела в камере с другими политическими, освободить ее одну было невозможно. Тогда решили организовать групповой побег.

Главным организатором побега был Морчадзе, очень смелый, спокойный и дисциплинированный специалист по конспирации. Полиция давно охотилась за Морчадзе, но он так умело скрывался, так ловко заметал следы и так хорошо организовывал явки, что охранка всегда оставалась с носом.

Морчадзе был старым знакомым Маяковских. Он знал семью еще на Кавказе, а в Москве некоторое время снимал у них комнату. После, переехав, он продолжал часто заходить и оставался по нескольку дней жить в комнате Володи.

Володе нравилось его подвижное смуглое лицо с бородкой и усами, его умные, с лукавой искоркой глаза. Он попробовал сделать несколько карандашных набросков. Получилось очень похоже.

Однажды Морчадзе, разглядывая свой портрет, спросил как бы невзначай:

— Скажи, пожалуйста, художник дорогой, можно в твоей комнате смолить канат так, чтобы, кроме сестер и матери, никто об этом и не знал?

Володя встрепенулся: ого, готовится что-то серьезное!

— Конечно, можно! Ни одна душа знать не будет,— сказал он поспешно.— Может, нужна еще помощь? — спросил он.

Морчадзе кивнул. Ему нужны были верные помощники. Володе, несмотря на молодость, вполне можно было довериться.

«Этот не болтун, не выдаст»,— думал опытный конспиратор, глядя на резко очерченный профиль молодого Маяковского.

Он посвятил Володю в план побега. С тринадцатью заключенными была налажена связь через тюремную надзирательницу Тарасову. Тарасова добыла слепки ключей от камеры и от наружной двери тюрьмы.

Одной из заключенных достали синее шелковое платье, она должна была разыграть роль начальницы тюрьмы. Остальных должны были одеть в гимназические платья. Платья бралась пронести на себе в тюрьму Тарасова. Только вот кто их сошьет?

— А мама на что? — с жаром сказал Володя. — Не беспокойся. Если она узнает, для чего нужны эти платья, она день и ночь будет сидеть за машинкой.

На следующий день Морчадзе принес Володе целый кусок тонкого коричневого сатина. И в доме Маяковских закипела работа.

Морчадзе знал, что он может положиться на эту семью. Он сказал матери и сестрам Володи о побеге. Одного только не сообщил осторожный грузин: на какой день назначен побег. Но все в доме чувствовали, что день этот совсем недалек, и это всех как-то подтягивало. И Володя, и мать, и сестры понимали, что готовится большое, рискованное предприятие, от которого зависит не только судьба тринадцати заключенных.

— Чем удачнее и смелее побег, тем сильнее удар по самодержавию, — говорил Морчадзе, — тем крепче поверит народ в силу революции.

В час ночи с 1 на 2 июля дежуривший у тюрьмы постовой городовой увидел свешивающийся с тюремной стены канат. Канат слегка покачивался, как будто его только что держали чьи-то руки.

Городовой тревожно засвистел. Отряд полиции ворвался в тюрьму. В проходной спал мертвецки пьяный надзиратель и лежала связанная старшая надзирательница. Двери камеры № 8 были открыты. Камера была пуста. Вскоре выяснилось, что вместе с тринадцатью политическими заключенными исчезла и надзирательница Тарасова. Через два часа полиция, охранка, жандармы — все были поставлены на ноги. Телеграммы с описанием примет беглянок летели на все границы.

Начальство бесновалось: такого дерзкого побега еще не было в тюремной хронике! Подумать только: сквозь толстейшие тюремные стены, сквозь запоры и засовы, сквозь строй надзирателей, полицейских, часовых, сквозь цепь филеров и шпиков прорвалось тринадцать женщин-революционерок! На другое утро во всех газетах появились сообщения о побеге политзаключенных.

В то же утро Володя с рисовальной папкой, которую он захватил для отвода глаз, чуть не бегом мчался по улице. Волосы, растрепанные ветром, свисали ему на лоб: второпях он забыл о шапке.

Он наскакивал на встречных, расталкивал локтями прохожих, чуть не сбил с ног какую-то старуху, но даже не оглянулся. Ему было не

до того. Все в нем бурлило: «Ай да мы! Ай да молодцы! Это мы одурачили охранку, это мы натянули нос полиции! И как смело, как талантливо!»

И он все прибавлял да прибавлял шагу, не замечая, что прохожие с удивлением оглядываются на него и торопятся сойти с дороги.

А кругом были усилены полицейские посты и всюду шныряли фигуры в гороховых пальто — филеры.

Володя торопился к жене Морчадзе. Может быть, беглянкам нужна помощь? Отвезти куда-нибудь, спрятать в надежном месте? Он так хотел быть хоть чем-нибудь полезен!

Жена Морчадзе жила отдельно от мужа, потому что квартира их была постоянно под слежкой, и Морчадзе из предосторожности находился в другом месте. Володя знал жену Морчадзе: она тоже занималась мелкой художественной работой и иногда часть своей работы передавала Володе. Она, конечно, знала о побеге и, может быть, могла сказать ему, что надо делать.

С такими мыслями Володя подходил к знакомому дому. А там, куда он направлялся, уже дежурила полицейская засада.

Переправив беглянок в безопасные места, Морчадзе хотел выбраться из Москвы, но заметил, что за ним по пятам следует целый хвост шпиков. Что делать?

Однако Морчадзе недаром был опытным конспиратором. Он вспрыгнул на полном ходу в трамвай, выскочил на остановке и, чтобы окончательно сбить сыщиков со следа, вскочил во встречный вагон.

Шпики не отставали. Было девять часов утра. Морчадзе колесил по Москве. Он доехал до Красной площади и стал в Торговых рядах ходить по магазинам, надеясь, что преследователи его потеряют.

Не тут-то было!

Каждый раз, выйдя из магазина, Морчадзе видел за собой неизменный хвост.

Он устал, был голоден. Чувствовал себя зайцем, за которым охотятся. Куда деваться?

«Попробую поехать к Маяковским,— решил он наконец,— может быть, до них полиция еще не додумалась».

И, всячески запутывая следы, петляя и кружа по улицам, Морчадзе отправился к Маяковским.

Между тем, квартира Маяковских уже была полна городовых и сыщиков. Шел обыск. Оля доставала из шкатулки письма гимназических подруг и, нервно смеясь, совала их сыщикам.

— Нате, читайте,— говорила она с деланой веселостью,— читайте, тут очень много разных политических тайн: о ленточках, о блузках, даже о стихах...

Тем временем мать уничтожала все, что могло повредить Володе и его товарищам: записки, адреса, какие-то книжки... В крохотной комнатке Володи, где, сидя на кровати, можно было, упершись ногами в противоположную стенку, зашнуровать ботинки, рылся худой, длинный сыщик с веснушчатым лицом.

— Начитанный ваш брат,— сказал он Люде, перебирая книги на Володином столе.— Вон какие серьезные книги читает...

По коридору быстрыми шагами прошла Буда Туркия. Вот уже несколько месяцев она жила у Маяковских и училась на зубоврачебных курсах. Буда обменялась с Людой выразительным взглядом.

— Вам что-нибудь нужно? — холодным официальным тоном спросила ее Люда.

Полиция должна думать, что Буда совсем посторонняя и никакого отношения к семье не имеет. Буда собиралась ответить в том же тоне, но в это мгновение в передней позвонили, дверь открылась, и вошел Морчадзе.

У Люды захватило дыхание. Сейчас его схватят, арестуют, уведут в тюрьму...

— Вы к зубному врачу? — быстро спросила она, не давая ему заговорить.

Морчадзе взглянул на сыщиков, столпившихся в коридоре, и схватился за щеку.

— Да,— простонал он,— зуб... Вторую ночь заснуть не могу...

Буда Туркия уже стояла перед ним:

— Войдите, я принимаю.

В комнате Буды «пациент» сказал шепотом:

— Забинтуйте мне все лицо, я попробую как-нибудь ускользнуть от шпиков.

Буда молча кивнула и умелыми руками взялась за работу. Вскоре из белой массы бинтов виднелись только одни глаза «пациента».

В передней Буда громко сказала:

— Положение ваше очень серьезное. Пускай хирург немедленно удалит вам зуб, иначе вам грозит заражение крови.

Едва Морчадзе вышел из дома Маяковских, снова появились шпики.

«Придется сесть»,— решил Морчадзе и, уничтожив все, что было у него в карманах подозрительного для полиции, поехал на квартиру жены.

В дверях его встретил сам полицмейстер, бравый и начищенный, как самовар.

— Пожалуйте, пожалуйте... паф-паф... мы вас... паф-паф... давно ждем,— сказал он, выпуская изо рта клубы дыма (полицмейстер курил трубку).

Усталый Морчадзе опустился на стул. Он заранее знал, что ждет его: допрос, протокол, тюрьма, потом, наверное, каторга.

— Итак... паф-паф... приступим.— Полицмейстер кивнул сопровождавшему его приставу: — Записывайте.

Пристав взялся за перо, но в этот момент в дверях послышался шум, и городовой втолкнул в комнату высокого юношу в черной косоворотке. Это был Володя Маяковский.

— Сели! — сказал он, оглядывая полицейских озорными глазами.— Честное слово, сели!

Неожиданная засада ничуть не испугала Володю. Напротив, встреча с одураченным врагом еще сильнее его раззадорила.

— Кто вы такой? Зачем сюда явились? — спросил пристав, глядя на удивительного юношу, который мог смеяться при таких обстоятельствах.

— Протокол пишете? — Володя нагнулся через плечо пристава.— Пишите! — сказал он почти повелительно.— «Я, Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части...»

— Довольно! — рявкнул полицмейстер.— Увести этого шутника... паф-паф! Да запереть его... паф-паф... хорошенько!

И, кипя и брызгаясь, как самовар, полицмейстер хлопнул дверью.

Староста

— Внимание! Показываю двойной нельсон.

Володя просунул свои длинные, большие руки за спину Поволжца, и тот, как мягкая тряпичная кукла, пригнулся к земле.

— Полусуплесс! Бросок через бедро! — Володя легко перекинул партнера.

Был час общей прогулки. Во дворе Мясницкой полицейской части собрались все заключенные. Поволжец, крупный человек, лет на пять старше Володи, тяжело дыша, запросил «пардону».

— Вы медведь, вы черт,— сказал он, с завистью и восхищением глядя на громадину, стоящую перед ним.— Ни разу, подумайте, ни разу я не положил вас!

Володя был давно знаком с Поволжцем по партийной работе. Они встретились снова, когда после «побега тринадцати» Володю привезли в Мясницкую полицейскую часть. Полиция обвиняла Маяковского в

том, что он знал о готовящемся побеге и помогал бежавшим скрыться.

Первые несколько дней Володю держали в части на Басманной. Он так бушевал и скандалил там, что начальство испугалось беспокойного арестанта и постаралось от него избавиться.

Маяковского перевели в Мясницкую часть и посадили в отдельную камеру.

Встретив Поволжца, Володя обрадовался: свой человек.

— Книжки есть? — спросил он товарища.

— Есть только учебник гимнастики Мюллера,— сказал Поволжец.

— Великолепно! — еще больше обрадовался Володя.— Будем заниматься, а то в этих тюрьмах сгниешь.

Так на тюремном дворе начались уроки гимнастики и французской борьбы, которой увлекался Володя.

Политическим заключенным сразу пришелся по душе новый товарищ. Он был смелый забияка, умел весело острить и всегда вступался за обижаемых. И, когда стали выбирать старосту, все заключенные в один голос закричали:

— Маяковского! Пусть Маяковский будет старостой!

Новый староста сделался грозой начальства. Он завел свои порядки и вмешивался решительно во все: из свежей ли крупы варится суп для заключенных, чисто ли убрано в камерах, все ли выведены на прогулку. Он тыкал надзирателю в нос грязную швабру, он скандалил с караульными, он узнавал, кто как ведет себя на допросах, и устанавливал связи с волей. Словом, это был ужасно неудобный и беспокойный арестант.

На беду начальства, сестры принесли Володе передачу: карандаши и акварельные краски. В тот же день Маяковский объявил смотрителю, что он намерен продолжать свои занятия живописью.

— Я собираюсь рисовать портрет одного товарища,— сказал он,— но для этого мне придется каждый день приходить к нему в камеру.

Смотритель замахал руками:

— Всякие общения между арестованными строго воспрещаются.

— Какие же это общения? Я продолжаю мои занятия, которые вы грубо прервали арестом,— хладнокровно-презрительным басом сказал Володя. С некоторого времени он стал замечать, что петушиные нотки в его голосе исчезают и вместо них появляется густой, бархатистый бас, очень похожий на отцовский. Володе это ужасно нравилось. Было приятно рявкать на смотрителей и видеть, как от его голоса бледнеет и теряется начальство.

— Я разрешу вам рисовать с условием, чтобы во время сеансов в камере присутствовал надзиратель,— сказал растерявшийся смотритель.

На следующий день Володя с рисовальными принадлежностями

явился в камеру Поволжца. Оба очень радовались неожиданному развлечению.

Володя усадил Поволжца на подоконник, под ноги ему подставил табурет. Потом не спеша вынул краски, осмотрел кисти и, посвистывая, стал разводить в баночке синюю краску. Ни ему, ни Поволжцу некуда было торопиться. Зато в углу нетерпеливо ерзал на табурете дежурный надзиратель. Надзирателю было скучно: сеанс угрожал быть очень долгим.

Маяковский провел кистью по бумаге, искоса поглядел на надзирателя. Ох, с каким удовольствием он вышвырнул бы из камеры этого шпика! Хотелось о стольком поговорить, расспросить товарища, а тут торчат полицейские уши!

Между тем, зашел разговор о стихах. Это была безобидная тема, и надзиратель не мог ни к чему придраться. Поволжец стал читать на память стихи Бальмонта, которыми увлекалась в то время вся молодежь:

Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит.

— Бросьте, ведь это же гадость, тухлятина! — возмущенно прервал его Маяковский.— Сукин сын ваш Бальмонт!

— Арестант, не выражайтесь,— сказал из своего угла надзиратель.

— Что такое? Не выражаться? А вы знаете, что я староста, выборный? Не я вас, а вы меня должны слушаться! — запальчиво крикнул Маяковский.

— Арестованным не полагается иметь никакого представителя! — в свою очередь закричал надзиратель.— Не знаю я никакого старосты и знать не желаю!

Маяковский, опрокинув табурет, выскочил из камеры и в бешенстве зашагал по коридору. Прибежал испуганный помощник смотрителя.

— Извольте послушать,— умоляющим голосом обратился он к Володе,— вы хоть и староста, а все же арестованный. Стало быть, должны сидеть в камере, а не разгуливать по коридору.

Маяковский не обратил никакого внимания, будто не слышал.

— Часовой! — жалобно закричал помощник смотрителя.— Часовой, взять арестованного и препроводить в камеру!

Но едва часовой с винтовкой подошел к Володе, тот рявкнул громовым басом на весь коридор:

— Товарищи! Старосту притесняют, гонят в камеру!

— Долой! — завопили политические.— Долой! Руки прочь от старосты!

В железные двери камер забарабанили руками и ногами. По всей тюрьме пошел грохот. Кто-то звонким голосом затянул: «Смело, товарищи, в ногу...»

Бледное, перепуганное начальство металось по коридору, стараясь урезонить разбушевавшихся политических.

И всю эту кутерьму поднял Володя Маяковский.

На другой день смотритель отправил в охранку секретное прошение:

«Прошу не отказать сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения, при этом присовокупляю, что и ко мне он был переведен из Басманного полицейского дома за возмущение».

По распоряжению охранки Маяковский был немедленно переведен в одиночную камеру Бутырской тюрьмы.

Одиночка номер сто три

Камера номер сто три, куда привели Володю Маяковского, помещалась на четвертом этаже Бутырок, в левом крыле, выходившем к Северной башне.

Он хмуро оглядел свое новое жилье.

Шесть шагов по диагонали. Табурет, откидная койка, параша, в двери — глазок для наблюдения за арестантом и форточка. Окно забрано частой железной решеткой, и от этого даже самый солнечный день из одиночки кажется серым и пасмурным.

По коридору затопали тяжелые сапоги. В глазок заглянули: здесь ли арестант и что делает.

Новый заключенный, угрюмо насупившись, шагал из угла в угол. Шесть шагов туда, шесть обратно. Совсем как золотистый леопард, которого он видел в Зоологическом. Тот леопард тоже без конца шагал по своей клетке и, наверно, скучал оттого, что был один.

Володе страшно хотелось людей, человеческих голосов, какого-нибудь шума. Но со всех сторон его обступала холодная, казенная тишина.

Он попробовал постучать в стенку: нет ли у него соседа, с которым можно перестукиваться? Никто ему не ответил.

Тогда он бросился на койку и, чтобы хоть как-нибудь спрятаться от этой гнетущей тишины, с головой накрылся серым тюремным одеялом. Вдруг с грохотом открылась форточка в двери:

— Кипяток.

Да, это была настоящая тюрьма, не то что какая-нибудь Мясницкая или Басманная часть, где можно было задираться и скандалить с начальством.

Здесь, в Бутырках, за малейшее неповиновение сажали в карцер или переводили в темные сырые камеры — погреба.

Снова открылась форточка:

— На прогулку.

Володя вскочил обрадованно: сейчас он увидит кого-нибудь из политических, услышит, наконец, человеческий, не полицейский голос.

Но и во внутреннем дворе тюрьмы, куда его привели, он был опять один. Красные каменные стены, унылые и холодные, как дни чьей-то скучной жизни, окружали его со всех сторон.

— Где же другие арестованные? — спросил он часового, будто приклеенного к зеленому железному грибу.

Тот не отвечал: говорить с арестантами не полагалось. Володя вызвал надзирателя.

— Дело ваше еще не закончено, поэтому и общих прогулок вам не полагается,— объяснил надзиратель.

Володя крепко сжал губы: значит, и на прогулках он будет одиноко любоваться тюремными стенами!

У него оставалась, впрочем, одна, последняя надежда: баня.

Он знал, что одиночников водят в баню по нескольку человек сразу и что можно под предлогом мытья оставаться в бане хоть до самого обеда. С нетерпением ждал он ближайшего банного дня: может быть, там он встретит кого-нибудь из товарищей.

Этот день, наконец, наступил. Конвойный проводил Маяковского до раздевалки.

Горячий мыльный дух ударил ему в лицо. Среди белого пара и пены метались голые фигуры с шайками и вениками в руках.

В одной из этих фигур Володя с удивлением и радостью узнал Трифонова, того самого Трифонова, который обвинялся по одному с ним делу о подпольной типографии.

Трифонов сидел в Бутырках уже больше года.

— Скоро суд по нашему делу,— сказал он Володе.— Помни: я тебя никогда не видел, и ты меня не знаешь...

Володя молча кивнул: ему не нужно было объяснять, как держаться на суде. Он умел молчать.

Прошло несколько дней после этой встречи, и за Маяковским снова явился конвоир. Володю и Трифонова отправили в суд.

Заседание суда происходило при закрытых дверях. На пустых скамьях для публики Володя увидел одну только старшую сестру. У Люды было серое, напряженное лицо. Мама и Оля не пришли: он сам передал им просьбу не приходить, чтобы не расстраиваться.

На местах для свидетелей сидели старик-портной, рыжий мальчишка-подмастерье и городовой, который арестовал Володю.

— Признаете ли себя виновным? — раздался обычный вопрос.
— Нет,— сказал Трифонов.
— Нет,— сказал Володя.

Первым допрашивали главного обвиняемого — Трифонова.

— Я Маяковского знать не знаю,— сказал он суду.— Черт его знает, кто его ко мне прислал? — Трифонов нарочно говорил грубо.

Маяковский подтвердил, что с Трифоновым не знаком, видит его впервые.

На суде выяснилось, что Маяковскому только недавно исполнилось шестнадцать лет. Трифонов был поражен: он был уверен, что Володе лет девятнадцать. Маяковский выглядел таким взрослым и опытным в революционной работе, никому и в голову не могло прийти, что он совсем еще мальчишка.

Но именно возраст спас Володю. Суд постановил: «В. В. Маяковского отдать под ответственный надзор полиции». Зато Трифонова не пощадили. За организацию типографии и прошлую революционную деятельность его приговорили к шести годам каторжных работ.

Из суда обоих подсудимых отправили обратно в Бутырки. Трифонова заковали в кандалы и перевели в каторжное отделение, а Маяковского снова водворили в одиночку номер сто три. Над ним тяготело еще более серьезное обвинение: участие в организации «побега тринадцати».

Первые стихи

— Сто третий прислал за книгами.
— Опять? Да что он, глотает их, что ли? Только вчера ему выдано пять новых книг...

Дежурный надзиратель привык, что все заключенные в Бутырках жадно читают. Но сто третий номер приводил его в изумление: так много еще не читал никто. Каждый день из одиночки приходили длинные списки требуемых книг.

Тюремная библиотека состояла из книг, которые получали с воли политические. Уходя из тюрьмы, они оставляют свои книги для других заключенных.

Сто третий номер требовал из библиотеки то классиков: Пушкина, Толстого, Шекспира, то новые журналы со стихами Блока, Бальмонта, Андрея Белого.

В глазок одиночки часовой с утра до вечера видел большую взлохмаченную голову, склоненную над книгами.

Володя Маяковский вдруг понял, что многого не знает. До своего ареста он читал главным образом политические книги. Этого требо-

вала от него партийная работа. Теперь, в тюрьме, он увидел, что существуют другие, новые для него книги: романы, повести, стихи.

Стихи давно привлекали его. Однажды он пробовал сочинить стихотворение для тощего гимназического журнальчика. Но, написав, застыдился: неподходящее это дело для партийного работника. И только здесь, в тюрьме, он принялся с жадностью читать стихи.

> Вот ко мне на утес
>   притащился горбун седовласый,
> Мне в подарок принес
>   из подземных теплиц ананасы...

бормотал он, шагая по камере, стихи Андрея Белого. И снова в нем, как в детстве, росло и кипело непонятное беспокойство, может быть, зависть к этим поэтам...

Он попросил родных принести ему тетрадь. Тетрадь принесли, но, прежде чем отдать ее заключенному, надзиратель перенумеровал в ней все страницы и скрепил печатью. Это — чтоб арестант не мог вырвать из тетради ни одной страницы без ведома начальства.

В этой тюремной тетради Маяковский начал писать свои первые стихи. Сначала ему показалось, что писать стихи совсем легко — рифмы напрашивались сами собой и текли непринужденно:

> В золото, в пурпур леса одевались,
> Солнце играло на главах церквей.
> Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
> Сотни томительных дней...

Володя писал и радовался:

— Те, кого я прочел,— так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их!

Он лег спать довольный, гордый тем, что мог состязаться с прославленными поэтами.

Но пришло утро, он перечитал свои стихи и сморщился, как от зубной боли.

— Вот гадость плаксивая!

Нет, это не стихи, а рифмоплетство! Видно, недостаточно еще знать рифмы и стихотворные размеры, для того чтобы писать настоящие, горячие стихи!

В сердцах он хотел разорвать написанное, но тут увидел тюремную печать. Вид этой печати вдруг напомнил ему Трифонова, которого послали на каторгу, повешенного жильца...

«Нет, нельзя писать сладкозвучные стихи об ананасах и умирающих лебедях, когда кругом происходят такие вещи,— сказал он себе,— надо писать так же хорошо, но про другое».

Однако оказалось, что *так же про другое* писать нельзя. Ста-

рые размеры, придуманные для сладких слов «грезы — розы», не годились для грохочущих, революционных призывов. Выходили плохие, бледные, беспомощные стишки.

Володя исписал всю тетрадку и бросил: нет, стихи решительно не удавались! Он раздражался и, шагая по камере, сердито отшвыривал табурет.

Ему все сильнее, все мучительнее хотелось делать что-то большое, интересное, новое.

Рисовать? Но рисовать некого и нечего: физиономии надзирателей опротивели, тюремный двор пуст и гол. И заключенный номер сто три томился и бушевал в узкой, глухой коробке своей камеры.

Между тем, охранка продолжала деятельно заниматься «побегом тринадцати». Почти всем бежавшим удалось переправиться за границу, и полиция намеревалась свести счеты со всеми подозреваемыми в организации этого побега.

Маяковского несколько раз допрашивали. Он продолжал и в этом деле все отрицать.

Вскоре пришло постановление охранки: «Выслать Владимира Маяковского под надзор полиции на три года в Нарымский край».

Заключенному разрешили свидание с родными. Пришла мать и сестры. Мать совсем согнулась от навалившегося на нее несчастья.

— Не огорчайтесь, мама,— сказал Володя, осторожно трогая ее за плечи.— Живут же там люди. И я буду жить.

Он был совершенно спокоен. Но мать не хотела так легко отдать сына охранке. Она поехала в Петербург: хлопотала, напоминала о заслугах покойного мужа, просила, требовала...

В морозную январскую ночь в камере сто три с грохотом открылась форточка:

— Маяковский, с вещами по городу!

Володя поднялся с койки, растрепанный, полусонный: «Ага, значит, сейчас отправят по этапу в ссылку!»

Он собрал немногие вещи, полученные с воли, и под конвоем отправился в контору тюрьмы. Там совершенно неожиданно для него ему сообщили, что он освобождается под надзор полиции. Надзиратель вернул ему все его вещи, кроме тетради. Тетрадь осталась в тюремном архиве.

Давид Бурлюк

— Свободен! Свободен!

Все кричало, все пело, все прыгало в нем. Не помня себя от радости, он мчался огромными скачками домой, а ему казалось, что он еле двигается.

Он ворвался в дом, как веселый вихрь, подбросил мать чуть не к самому потолку, оглушил всех радостным басом, затискал и зацеловал сестер, помчался мыться, вернулся и опять стал обнимать всех намыленными руками.

Он на свободе! Он в Москве!

Радость так и распирала его. Ему необходимо было вынести ее на улицу, иначе маленькие комнатки квартиры просто не выдержат и развалятся.

Володя выскочил на улицу в легкой тужурке, которая была на нем в день ареста. На дворе стоял январь, а пальто его было, как всегда, заложено. Но он был так счастлив, что совсем не чувствовал холода. Он бродил по улицам и любовался снежным московским небом, мелькающими санками, с наслаждением слушал окрики извозчиков и трамвайные звонки, наконец, уселся в трамвай и три часа без нужды, без цели, просто катался по городу.

Все, что напоминало ему тюрьму, вызывало в нем приступ чисто физического недомогания, тошноты: он не мог есть черного хлеба, потому что в тюрьме давали такой же; не мог жить в комнате с высоко врезанным окном: она напоминала ему тюремную камеру. А когда в театре его тужурку повесили на сто третий номер, он вернулся и сказал служителю:

— Перевесьте, пожалуйста! С некоторых пор у меня есть причины не любить именно сто третий номер.

Прошло несколько дней. Володя начал понемногу привыкать к жизни на воле. Он уже не удивлялся тому, что спит на собственной постели и ест не тюремную похлебку, а состряпанный матерью обед. Но когда улеглась первая радость, домашние начали замечать, что Володя ходит молчаливый, сумрачный. Книги, прочитанные в одиночке, оставили в нем глубокий след. Он понял, что ему нужно еще многому учиться.

«Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии,— угрюмо рассуждал он сам с собой.— Революция? Но разве революция не потребует от меня серьезной школы?»

Володя бродил по Москве — осунувшийся, с мрачными, исподлобья глядящими глазами. В эти дни он решал один из самых важных для себя вопросов...

Он прервал партийную работу, чтобы засесть за учение.

Но где учиться? В гимназии требовали свидетельство о благонадежности. А он только что сидел в тюрьме за революционную работу.

Единственное место, где не требовали такого свидетельства, было училище живописи и ваяния. Люда давно уговаривала брата поступить туда. Володя и сам думал, что, быть может, именно в училище он найдет то, чего ему хочется, что, быть может, его призвание —

живопись. К тому же рисунки его хвалили все знакомые художники. И осенью следующего года Маяковский поступил в училище.

И преподаватели и ученики сразу обратили внимание на новенького: уж очень странная внешность была у Володи Маяковского. Высокий, со взлохмаченными темными волосами, в небрежной блузе, он был похож на молодого цыгана. По улице Володя ходил в широкополой черной шляпе и черном плаще с бронзовыми застежками. Из-под полей шляпы смотрели озорные, умные глаза. В углу рта дымилась папироса.

В таком костюме Маяковский был похож на театрального разбойника. Если его спрашивали, зачем он напялил на себя этот маскарадный наряд, он просто отвечал:

— Другого ничего нет, а купить не на что.

В училище он с жаром принялся за рисование. По целым часам просиживал в классах, рисуя гипсовых греческих богов, серебряные сервизики, вазы.

Его хвалили. Преподаватели находили, что он чувствует линию и краску, что у него верный глаз и смелый карандаш.

Маяковского не радовали эти похвалы. Ему скоро стало скучно в училище. Он вдруг увидел, что от всех богов и богинь веет мертвечиной, что в классах рисуют никому не нужных коровок и овечек, что художники не изучают настоящую жизнь, а переписывают на все лады свои собственные картинки. Тени у них синие, моря зеленые, розы розовые — и все одинаково ненужное и ненастоящее. Написал такой художник квадратную версту полотна, разрезал на обычных размеров картинки — и самому нравится, и родственники довольны!

Нет, не такой живописи хотелось Маяковскому. Он мечтал, чтоб на картинах по-новому изображалась настоящая жизнь. А в училище рисовали, подражая старым художникам, не внося ничего нового. Учителя хвалили подражателей, а тех, кто пытался работать самостоятельно, рисовать по-своему, затирали.

Однажды в коридоре училища Володя столкнулся с толстым, мешковатым человеком в неряшливом сюртуке. У человека был наглый, вызывающий вид. Он рассматривал всех встречных в лорнет. Звали его Давид Бурлюк.

Он долго, не стесняясь, рассматривал Маяковского. Володю это взорвало.

— Не пяльте на меня ваши рачьи глазки,— резко сказал он Бурлюку,— не то я вправлю вам ваши буркалы!

— Во-первых, не буркалы, а бурлюкалы,— невозмутимо процедил

тот сквозь зубы,— а во-вторых, молодой невежа, учитесь уважать старших.

Они наскочили друг на друга, готовые подраться. Их развели: за драки начальство исключало из училища. С тех пор Володя Маяковский и Бурлюк, встречаясь, всегда отпускали какие-нибудь обидные словечки.

Но, встретившись как-то на концерте, который им обоим показался скучным, они разговорились.

Оказалось, что и Бурлюк томится в училище, что и он хочет рисовать по-новому, и не зализанных овечек, а настоящую жизнь. Он показал Маяковскому свои картины: улицу с громоздящимися друг на друга домами, летящий поезд, всадника на бегущей лошади, у которой было десять ног. Показывая картины, Бурлюк с опаской поглядывал на Маяковского: он привык, что над его рисунками непонимающие просто смеются.

Но Маяковский не смеялся. Он понял, что Бурлюк в своих картинах хочет изобразить движение вещей, стремительную городскую жизнь. Это было ново и необычно и нравилось Маяковскому именно своей новизной.

— Наверное, от ваших пейзажей все училищное начальство лезет на стенку,— сказал он Бурлюку.

— Директор давно грозится меня выгнать,— подтвердил тот с гордостью.

И это было по душе Володе: он так любил дразнить всякое начальство!

Бурлюк не только рисовал, но и писал стихи. Он прочел их Володе:

Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод.
Все, что встретим иа пути,
Может в пищу иам идти!

В этих стихах не было никаких слезливых «умирающих лебедей». Бурлюк словно бросал вызов всем сытым, тупым и богатым. Это также понравилось Володе Маяковскому. Ведь и сам он был молод и чувствовал чертовский голод, который никак не мог утолить.

Задумчивый расстался он с Бурлюком.

Назавтра они снова встретились. Стояла сырая туманная осень, на голом бульваре каркали вороны, в лужах отражались редкие керосиновые фонари. Бурлюк неуклюже шагал в теплом ворсистом пальто, поминутно облизывал зубы — у него была такая привычка, бранил училищную скуку.

— Послушайте,— сказал вдруг хриплым, странным голосом Маяковский,— послушайте, я вам прочту стихи... Один мой знакомый написал,— прибавил он с запинкой.

И тем же трудным, хриплым голосом он прочел:

Багровый и белый отброшен и скомкаи,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоиям сбежавшихся окои
раздалн горящие желтые карты.
Бульварам и площадн было ие страино
увидеть иа зданиях сиине тогн.
И раньше бегущнм, как желтые раны,
огнн обручалн браслетамн иогн.

Бурлюк смотрел на Маяковского, словно видел его впервые, восторженно и удивленно. Он не ожидал от него стихов, да еще таких талантливых, смелых. Маяковский в стихах рисовал картину ночного города. «Багровый» — закат, «белый» — дневной свет, «зеленый» — городская зелень, «желтые карты» — огни в окнах, «синие тоги» — тени на зданиях, «браслеты» — световые круги от фонарей. Это была настоящая стиховая картина.

Бурлюк рявкнул радостно:

— Да это же ж вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!

Володя Маяковский засмеялся, хотел сказать Бурлюку, что он еще не заслужил такого звания, но к Давиду подошел какой-то знакомый.

— Знакомьтесь,— сказал басом Бурлюк,— мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский.

Володя вспыхнул, толкнул приятеля. Бурлюк, не обращая внимания, продолжал:

— Пишет замечательные стихи. Только что прочел мне свое новое произведение. Гениально!

Когда знакомый ушел и Володя напустился на Бурлюка, Давид сказал серьезно:

— Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение.

Желтая кофта

— Сегодня я выступаю на вечере,— сказал Маяковский.— Сшейте мне, мама, пожалуйста, рубашку.

И он выложил перед матерью кусок ярко-желтой материи.

Мать широко открыла глаза. Правда, у Володи никогда не было приличного костюма, только две плохонькие блузы, которые он носил в училище. Но одеваться в такую яичницу?! Ей это показалось диким.

— Но... как же...— начала она.

— Не будете шить, отдам портному. А портной счет пришлет. А денег ни у меня, ни у вас нет. Посадят меня за долги опять в тюрьму,— полушутя, полусерьезно пригрозил сын.

Мать молча принялась кроить желтый лоскут. Она не знала: радоваться ей или огорчаться. Дома ждали, что Володя станет художником, а теперь вдруг оказалось, что сын пишет стихи, и такие, что все друзья заговорили о его таланте.

Она попросила Володю прочесть ей что-нибудь. Он с готовностью прочел матери несколько своих стихотворений. Мать слушала, растерянная, испуганная за сына.

То, что он писал, ничуть не было похоже на привычные стихи. Горячая, живая, страстная речь была обращена к тем, кто считал себя хозяевами жизни. Нарочито грубыми, резкими словами Маяковский бичевал мир господ и рабов, черных и белых.

Мать поняла: сын ее и в стихах продолжает борьбу, он остался таким же непокорным бунтарем, как и в те годы, когда сидел в одиночке. Тюремные стены еще живо стояли перед ее глазами. Раздразнит сын тех, кто правит страной, и они, чего доброго, опять упрячут его за решетку. Она не зря боялась за Володю.

Сын ее своими стихами поднял бунт против обывателей, которые млели от умирающих лебедей, роз и грез в стихах и восторгались зализанными пейзажиками на картинах.

Маяковский не желал писать сладких и напомаженных произведений по вкусу этой «чистой публики». Он предназначал свои стихи для улиц, для народа. Выбирал самые тревожные темы и язвительные слова. Кричал прямо в уши сытым, берегущим свое спокойствие господам, что, кроме них, есть еще люди — нищие, голодные — и что придет время, когда эти люди станут настоящими хозяевами жизни.

Ух, какое возмущение поднялось против Маяковского!

— Грубиян, некультурный хулиган, ничего не признает! — захлебывались криком одни.

— Разве это стихи? — подхватывали другие.— В стихах все должно быть красиво, певуче, музыкально, а у этого верзилы каждое слово — как удар хлыста!

Никто не хотел издавать стихи Маяковского. Он мог печататься только в тех сборниках, которые издавали его друзья. А друзей у Маяковского оказалось довольно много. Взгляды Маяковского на жизнь, на искусство разделяли многие художники и поэты. Они называли себя «футуристами» — от латинского слова «футурум» — будущее. Этим они хотели показать, что считают себя «поэтами будущего».

Футуристы Маяковский, Бурлюк и другие выступали на литературных диспутах и вечерах со своими бунтарскими стихами, громили любителей карамельного, сладенького искусства.

Маяковский не хотел иметь ничего общего с благопристойными мещанами. Наоборот, всем своим видом и поведением он дразнил их, вызывал в них ярость.

Для этого, как нельзя лучше, годилась желтая кофта. Подумайте только: среди чопорных пиджаков вдруг этакий лоскут, оторванный от солнца! И Маяковский заранее озорно усмехался.

Стучала швейная машинка, Маяковский с папиросой в углу рта слонялся по квартире, и от его плеч, рук и ног тесно становилось в маленьких комнатенках. Он ходил, курил и бормотал под нос свои и чужие стихи. И казалось, что это большой дрозд щебечет и свищет и рвется из клетки.

Вернулись с работы Оля и Люда. Люда теперь работала на фабрике «Трехгорная мануфактура», делала рисунки, которые потом наносили на ткань. Оля служила на почтамте.

Кофта была готова. Маяковский надел и пришел показаться в обновке.

Сестры ахнули:

— Батюшки, какая желтизна!

Но уже в следующую минуту брат, молодой, темноглазый, со смелым, страстным лицом, показался им так хорош в золотистой ткани, что они приняли и кофту, и желтизну, и необычайность костюма.

Они смеялись и прыгали вокруг него, а Маяковский весело охорашивался и читал сестрам свои новые стихи:

Вошел к парихмахеру, сказал —
спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
Лицо вытянулось, как у груши.

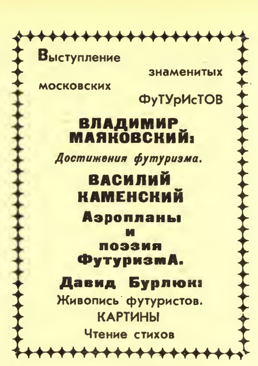
— Володечка, а мы за тобой. Пора идти,— раздался из передней высокий голос.

Это был Бурлюк и второй товарищ Маяковского — авиатор и поэт Вася Каменский. Они тоже принарядились. У Васи Каменского в петлице пиджака торчала деревянная ложка. На щеке Бурлюка была нарисована собачка и возле глаза пущена синяя стрела.

Маяковский поверх желтой кофты завернулся в розовый вуалевый плащ с маленькими золотыми звездочками. На голову он надел фетровую широкополую шляпу.

В таком виде трое друзей вышли на улицу. Люди расступались перед ними и остолбенело глядели им вслед. Что это? Кто это?

А со стен домов лезли в глаза оранжевые, как закат, афиши:



Слушать футуристов собралось очень много народу. Одни пришли, чтобы посмеяться и поглумиться над «поэтами будущего», другие из праздного любопытства, а некоторые из сочувствия к тому, что проповедовал Маяковский и его товарищи.

Когда трое товарищей вышли на эстраду, зал загудел и всколыхнулся. Раздались крики.

Кто-то насмешливо захохотал:

— Яичница!

— Желтое пугало!

— Клоун!

Маяковский, ярко освещенный, дал публике вдоволь налюбоваться желтой кофтой. Потом голос его широко разлегся по залу:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Вы пришли сюда ради скандала. Предупреждаю: скандала не будет.

Он начал свой доклад. Меньше всего этот доклад напоминал сухие выступления обычных докладчиков. Маяковский запросто беседовал со слушателями. Он зло и остроумно вышучивал сторонников старинки, издевался над богатыми бездельниками, для которых стихи

только тогда хороши, когда они помогают пищеварению, призывал делать новое искусство для народа.

— Я прочту вам мои стихи,— сказал он наконец:

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик,—
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Он читал, и каждый, кому следовало, прекрасно понимал, что это о нем написал Маяковский «пухлая морда».

Глухая, тяжелая злоба подымалась против Маяковского в зале. Несколько человек проскользнули к дверям, побежали куда-то.

А Маяковский продолжал, не обращая внимания, читать стихи, и его голос, горячий, мощный, покорял толпу.

— Я знаю: когда я кончу, вы будете мне аплодировать,— сказал он, гордо поднимая взлохмаченную красивую голову.

Он был прав: раздался оглушительный грохот хлопков. Но в тот же миг в дверях зала пронзительно взвизгнул полицейский свисток.

— Полиция! — пронеслось по рядам.

У всех дверей выросли городовые. Двое околоточных подошли к Маяковскому.

— Вечер прекращен по распоряжению полицмейстера,— сказал старший околоточный.— Прошу разойтись!

Маяковский хотел что-то возразить, но его опередил Бурлюк.

— Мы подчиняемся грубой силе,— процедил он жеманно.— Вася, Володечка, пойдемте.

На следующий день в газете появилась заметка:

«Во вторник толпа зевак, состоявшая главным образом из подростков, сопровождала трех субъектов в странном одеянии: один господин был в желтой кофте, на голове другого красовался какой то странный убор, у третьего была раскрашена физиономия. «Цирк приехал»,— говорили в толпе. «Клоуны ходят по улице для рекламы». В толпе, конечно, еще не знали, что странно одетые люди — футуристы».

С этих пор «желтая кофта» Маяковского стала знаменем для тех, кто шел вместе с Маяковским.

Испугалось желтой кофты и начальство училища живописи. Директор вызвал к себе Маяковского с Бурлюком и предложил им прекратить публичные выступления. Оба друга отказались. На следующий день в коридоре училища висело постановление начальства: исключить Бурлюка и Маяковского из числа учеников.

Товарищи жалели Маяковского, а сам он ничуть не горевал. Теперь ему даже некогда было рисовать. Он весь ушел в стихи.

Издатели не покупали ни одной его строчки, но и это не огорчало

его. Он мечтал написать большое революционное произведение, в котором можно было бы излить весь свой гнев. Он хотел говорить от имени людей, задавленных городом-капиталистом и бессмысленным, принижающим трудом.

Бурлюк ходил вокруг него, как заботливая нянька. Выдавал ежедневно пятьдесят копеек, чтобы Маяковский мог писать, не голодая.

Неожиданно пришло приглашение от одного юмористического журнала из Петрограда. Редактор «Нового сатирикона» звал к себе «человека в желтой кофте».

Маяковский, окрыленный, поехал в Петроград: наконец кто-то хочет его печатать, кому-то нравятся его стихи!

Но первые же слова редактора объяснили ему все.

— Вы пишите, как хотите,— сказал редактор,— это ничего, что звучит странно. У нас ведь журнал юмористический...

Маяковский вспыхнул: вот как, из него хотят сделать комика, циркача?! Хорошо, он им покажет, как он умеет смешить почтеннейшую публику!

И в журнале появились едкие, язвительные, обличающие стихи о взятках, о тупых чинушах, о бессмысленных царских законах.

Редактор просчитался: он хотел повеселить читателей, но Маяковского не так легко было обезвредить. Он продолжал идти своим путем.

У Горького

Алексей Максимович Горький жил на даче в Мустамяках, в Финляндии.

Дом был большой, двухэтажный. Ко всем окнам нижнего этажа были приделаны кормушки для птиц. Горький очень любил синиц, чижей, щеглов и каждое утро смотрел из окна, как птицы собираются и кричат у кормушек.

Осенним утром, когда Алексей Максимович работал у себя наверху, жене его, Марии Федоровне Андреевой, доложили, что пришел какой-то высокий молодой человек и хочет видеть Горького.

Внизу, в столовой, у окна, действительно, стоял неловкий долговязый юноша. Мария Федоровна оглядела его, и ей почудилось что-то знакомое в его лице.

— Вы к Алексею Максимовичу по делу или просто повидаться? — спросила она посетителя.

— Не знаю, как вам сказать,— буркнул посетитель, исподлобья глядя на хозяйку дома.— Должно быть, по делу. А вернее, просто видеть его хочется.

— Проголодались, наверное, с дороги? Чаю или кофе хотите?

— Я всегда есть хочу,— сказал юноша.

Мария Федоровна вышла распорядиться по хозяйству.

Когда она вернулась, посетитель был уже совсем другой, какой-то конфузливый и простой.

— Вы не Маяковский? — спросила его хозяйка.— Что-то в вас есть от человека в желтой кофте.

— Да, я Маяковский,— сказал посетитель.

Маяковский приехал к Горькому, конечно, не для того, чтобы просто повидаться.

Для молодого Маяковского свидание с Горьким было очень важным. Он был исключен из училища живописи. Сборник с его стихами конфисковала цензура. Его трагедия «Владимир Маяковский» была жестоко освистана. Полиция часто на полуслове прерывала его доклады. Никто не хотел печатать его новую поэму «Облако в штанах».

И, хотя Маяковский делал вид, что все это ему безразлично и даже приятно, потому что доказывает, насколько он выше всех «чиновников от литературы», все же он чувствовал себя одиноким в этом море свиста и негодования.

Он ждал от Горького решительного слова. Признает ли его Горький, или оттолкнет, как все так называемые «великие»? Протянет ли он ему дружескую руку или начнет говорить, как все, кислые слова.

Он приехал к Горькому и теперь волновался, словно ученик перед серьезным экзаменом, потому что из тогдашних писателей он больше всех уважал Горького.

И оттого именно, что он боялся, как бы Горький не оттолкнул его и не оказался таким же, как все, Маяковский заранее надел на себя маску насмешливости и грубости. Он готовился к отпору.

Деревья в саду стояли совсем желтые. Маяковский рассеянно смотрел в окно. Хозяйка пододвинула ему сыр и ветчину. Он принялся быстро есть, отрезая огромные куски и вряд ли даже замечая, что он ест.

Мария Федоровна продолжала пытливо смотреть на него.

— Познакомитесь поближе с Алексеем Максимовичем и сразу влюбитесь друг в друга,— сказала она вдруг.

— Почему вы так думаете? — косясь на нее, пробормотал Маяковский.

— А я уж знаю тех людей, которые в Алексея Максимовича влюбиться должны и в которых он влюбляется.

— А я боюсь,— сказал Маяковский.

Он съел всю ветчину и выпил три чашки кофе. До часу дня, когда Горький кончал работу и сходил вниз, было еще далеко.

— Пойдемте в лес грибы собирать,— предложила Маяковскому Мария Федоровна.

— Я никогда в лесу не был и грибов не собирал,— мрачно сказал Маяковский.

— Неправда,— сказала Мария Федоровна.— И что вам за охота на себя бог знает что напускать? Все равно ведь я не поверю, что вы в лесу не были...

Она была права. Впрочем, о грибах Маяковский сказал правду: на Кавказе почти нет съедобных грибов, и в детстве он никогда их не собирал.

В лесу, на природе, слезла с него шелуха рисовки. Он стал совсем домашним. Рассказывал о своем детстве, читал стихи. Читал он, как настоящий талантливый актер, и жена Горького, которая сама была актрисой, думала про себя, что если бы Маяковский пошел на сцену, из него вышел бы замечательный мастер.

Зато грибы он принес старые, червивые и рассердился, когда его спутница показала свою добычу: крепкие маленькие белые грибы.

Они вернулись к самому обеду. Все домашние уже собрались за столом. Не хватало одного Горького.

Наконец, послышался скрип ступеней, мягкие шаги. Мария Федоровна взглянула на Маяковского. Он весь подался вперед, скулы его ходили от волнения. Он то совал, то вынимал руку из кармана.

Сейчас произойдет что-то решительное, будут сказаны какие-то очень нужные слова. Сейчас он узнает, что думает о нем Горький, принимает ли он его и его стихи, одобряет ли его борьбу.

Вошел Горький.

Он был такой же высокий, как Маяковский, с широкими, слегка приподнятыми плечами. Глаза у него были добрые и внимательные. Говорил он глуховатым голосом и часто кашлял. Он посмотрел на Маяковского, и тому показалось, что одним этим взглядом Горький понял и определил его.

— Маяковский? Рад вам.— Горький усадил Маяковского за стол и заставил его подробно рассказывать о том, что он пишет и над чем работает.

С террасы послышались голоса, и сразу вошло несколько новых людей. Это были петроградские литераторы, которые жили на соседних дачах и приходили к Горькому запросто. Кое-кого из них Маяковский знал раньше.

Он сразу помрачнел, начал срываться, говорить грубости.

— Зря вы иглы выпускаете,— спокойно заметил ему Горький,— совсем как большой еж. Все вам кажется, что на вас сейчас нападут...

— Это у меня инстинкт такой выработался,— угрюмо сказал Маяковский,— нападали на меня много.

После обеда Горький взял его под руку, и они вместе пошли в сад. Там Маяковский прочел свое «Облако».

Он читал срывающимся голосом, страшно волнуясь, боясь взглянуть на Горького:

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты,
жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски.

Горький слушал, боясь проронить слово. У него в глазах стояли слезы. Перед ним был новый огромный талант.

— Вот это настоящий разговор с богом! — воскликнул он, когда Маяковский кончил.— Давно господу так здорово не влетало!

Он ухватил Маяковского за руку да так и не выпускал. Видно было, что этот горластый верзила совсем его покорил.

Горький не сказал Маяковскому никаких пышных слов, даже не похвалил его, но всем своим нутром Маяковский почувствовал одобрение Горького, его поддержку.

— Вот только что,— озабоченно сказал Горький,— вышли вы на заре и сразу громким голосом заговорили. А день-то велик. Хватит ли вас?

Он боялся за Маяковского, боялся, что Маяковский быстро растратит свой талант, сорвет его, как срывают голос певцы, начинающие петь слишком громко.

Маяковский уехал от Горького окрыленный. Горький обещал ему помогать и слушать все новое, что он напишет.

Наконец, наступил день, когда Маяковскому принесли из типографии небольшую книжку в оранжевом переплете. Большие черные буквы стлались по переплету: «Облако в штанах».

Маяковский раскрыл книжку. На него глянула желтоватая страница, сплошь испещренная точками. Как будто множество мух засидели лист.

Маяковский усмехнулся.

— Облако вышло перистое,— сказал он,— цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

Царская цензура действительно обкорнала поэму Маяковского и вместо стихов утыкала страницу точками. Цензоры боялись стихов этого горластого молодого поэта. А больше всего испугались они четырех строк в «Облаке»:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Маяковский ошибся не намного. Революция, которую он предсказал в поэме, опоздала всего на несколько месяцев.



ЧАСТЬ IV
ВЕСЬ МИР

«Левый марш»



ладимир Владимирович Маяковский?

— Да.

— Поэт?

— Да. Что угодно, товарищи?

Два матроса приложили руки к бескозыркам:

— Матросы Балтийского флота просят вас, товарищ Маяковский, выступить на нашем вечере, прочесть стихи...

Маяковский пристально оглядел пришедших. Это были совсем еще молодые парни с красными щеками, на которых пробивался белый пух. Маузеры в деревянных кобурах свисали с их поясов.

— Зимний штурмовали? — спросил Маяковский.

— Штурмовали,— в один голос сказали матросы.

— С какого корабля?

— Я со «Стремительного»,— сказал тот, что был постарше.

— Я с «Авроры»,— сказал второй.

— Знаменитый крейсер, вожатый революции! — Маяковский пожал матросам руки.— Приду обязательно.

Но, как только за матросами захлопнулась дверь, он суматошно зашагал по комнате.

— Послезавтра вечер. Что читать? Эти люди делали революцию. Не могу же я читать им стихи, написанные совсем в другое время, для других людей!

Маяковский вышел на улицу, прошел через пустынный Летний сад к Неве. Река отсвечивала нефтью и сталью. Крепость на том берегу еще была украшена красным полотнищем: «Да здравствует первая годовщина Октябрьской революции!» Всего несколько дней тому назад Петроград праздновал седьмое ноября. В этот день в театре шла пьеса Маяковского, первая революционная пьеса.

Публика аплодировала, вызывала автора:

— Маяковского! Маяковского!

А он не мог выйти, потому что играл в собственной пьесе три роли сразу.

Обо всем этом Маяковский думал теперь, шагая по набережной.

С усмешкой припомнил первые дни Февральской революции, когда, пьяный от радости, он шатался по этой набережной, бегал смотреть, где стреляют, и раздавал всем встречным первые революционные газеты.

Как быстро он понял тогда, что это не настоящая революция!

И не ошибся.

Вместе с большевиками пришла настоящая революция, его революция. Пришли новые, действительные хозяева жизни. Теперь можно спрятать желтую кофту: навсегда уничтожены те, кого она дразнила, в ком вызывала ярость.

Снег косо летел по торцовой мостовой. Дрожа и фыркая, как разгоряченные кони, ехали грузовики, везя красногвардейцев.

За памятником Петру, у черного, придавленного тяжелой снежной шапкой собора, седоусый матрос учил взвод молодых балтфлотцев.

— Гринчук, подравняйсь!.. Налево кругом! Ша-а-гом марш!..— негромко говорил матрос, и черная линейка двигалась, разворачивалась и замирала по команде. Ветер трепал ленточки бескозырок. Молодые лица были сосредоточены.

— Мажете, братцы! — говорил матрос, и взвод крепче впечатывал в площадь шаги.— Раз, два, раз, два, левой, левой, левой!..

Маяковский слушал равномерный топот шагов, и в такт этим шагам возникали в нем нужные новые слова. Он вытащил из кармана записную книжку...

Матросский театр помещался в порту, позади складов и пакгаузов,— неуклюжее гулкое здание, похожее на манеж. В зале сидели,

не снимая бушлатов и форменок: было холодно. Пар вылетал изо рта белыми облачками. Когда на дощатой, наспех сколоченной эстраде появился Маяковский, матросы дружно застучали деревянными просоленными ладонями. Он удивленно повел глазами.

— Разве ваши братишки знают меня? — спросил он у матроса с «Авроры», который приходил его приглашать.

— А как же! — отвечал тот.— Мы ваш спектакль ходили смотреть. А потом песенка тут одна есть, так, вроде частушки, мы ее часто поем. Вот кое-кто из ребят говорит, что тоже вашего сочинения. Не знаю, может, врут? — прибавил он полувопросительно.

— Песня? Какая? — недоумевающе спросил Маяковский.

— Братва,— закричал матрос в зал,— а ну, споем товарищу Маяковскому, что мы пели, когда к Зимнему шли!

Черные бушлаты зашевелились. И вдруг в нескольких местах прорвалась и грянула частушка:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй!

Весь зал подхватил задорный мотив. Маяковский провел рукой по волосам: да, это его слова пели балтфлотцы, он написал их в первые дни революции.

— Товарищи...— сказал он слегка охрипшим от волнения голосом,— я прочту вам стихи... Я посвящаю эти стихи вам, товарищи матросы.

И в гулком зале перед неподвижными бойцами Маяковский прочел свой «Левый марш»:

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.

Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
У мира на горле
пролетариата пальцы
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Полено под головой

Генерал Юденич был посажен на штык, как шашлык на вертел. Он висел вниз головой, и его маленькие ножки в широких штанах беспорядочно болтались в воздухе. Генеральская фуражка слетела, три волоска испуганно вздыбились на голом черепе.

— Посидишь теперь на красном штыке,— со свирепой радостью сказал боец в свалявшейся папахе.

— Вон и подпись есть,— сказал другой,— видишь: «Нашла коза на камень».

— Всех так насадим,— опять сказал первый. — И Деникина и Врангеля — всю белую сволочь.

Он еще раз поглядел на плакат и даже плюнул — до того противен был нарисованный генерал.

Мимо шли люди, многие с детскими санками. На санках везли поленья или пайки со службы: немножко хлеба, немножко картошки, воблу и дрова. Все, кто шел, останавливались, разглядывали Юдени-

ча на штыке и смеялись, глядя на подпись. И никто не знал, что и плакат и подпись к нему делал Владимир Маяковский.

Москва, серая, покрытая изморозью, была похожа на мороженую рыбу. В темноватой комнате, выходившей окном на каменный неуютный двор, спал Маяковский. Он сильно похудел, был желт лицом. В комнате еще плавал вчерашний папиросный дым, в нетопленом камине валялись окурки. Было очень холодно, так холодно, что с окна, как с деревьев в лесу, свисали хлопья инея. Этот холод заставил его проснуться.

Он схватил часы, но за ночь они то ли отсырели, то ли замерзли. Стрелки показывали два часа — время, когда он лег спать. Он вскочил встревоженный:

— Черт! Неужели опоздал?!

Посреди комнаты на двух сдвинутых стульях лежала чертежная доска с наколотым на нее рисунком.

Рисунок изображал рабочего в кепке. Рабочий стоял, отвернувшись. За его спиной тянулась рука с ножом.

Нужно было дорисовать руку, и Маяковский принялся поспешно разводить краску. Та, которая была разведена с вечера, замерзла в баночке, а новая не желала вылезать из тюбика.

Маяковский вполголоса ругался. Сейчас надо снести плакат в РОСТА, а у него еще не все готово!

Ему очень хотелось есть, болела голова, он уже много ночей спал всего по три-четыре часа.

Со всех сторон надвигались тогда на молодую республику враги. На Петроград шли белые генералы. На западе начинали шевелиться белополяки. В Сибири хозяйничали интервенты.

Разве мог Маяковский в такое время оставаться в стороне, быть равнодушным? Конечно, нет. Страна защищала революцию, и он тоже хотел ее защищать всеми своими силами и умением.

— Мой штык — перо и кисть,— рассуждал он,— значит, я должен пером и кистью служить революции.

Населению нужно было объяснить, за что дерутся большевики, как обстоит дело на фронте, как лучше побороть врага.

Для этого нужны были плакаты, воззвания, лозунги.

Маяковский сразу решил, что именно в этом он может помочь революции.

Но как быть, если типографии разрушены? Он вспомнил Трифонова с его подпольной типографией. Тогда многие подпольщики ручным способом размножали свои листовки и воззвания.

«Может быть, и теперь попробовать такой способ? — думал Маяковский.— Нужно изворачиваться...»

Телефонный звонок. Маяковский поднял трубку:

— Да, кончил. Сейчас иду.

Он бережно скатал плакат и вышел из дому.

Трамваи по Москве не ходили. Дворники не подметали улиц. Заборы сожгли в печках. Дома в переулках стояли, словно заблудившиеся дети.

Маяковскому встретился знакомый поэт. Поэт был в наушниках и в облезлом дамском пальто.

— Плакаты рисуете? Малярным делом занимаетесь? — насмешливо сказал он Маяковскому.— Такой замечательный поэт, а тратите себя на ерунду.

Маяковский вспыхнул:

— Я и ассенизатором буду, если потребуется. Довольно словесной водичкой жернова вертеть! Надо выволочь республику из грязи.

И, не подавая руки человеку в наушниках, он зашагал прочь. Как ненавидели его все эти поэтические белоручки! Ненавидели за то, что он с первого же дня Октябрьской революции начал работать с Советской властью и сразу сумел стать нужным для революции.

Они хором принялись кричать, что Маяковский занимается черной работой, что поэту не подобает писать частушки и агитационные стихи.

— А я говорю вам: настоящий поэт не тот, кто пишет о революции, а тот, кто пишет для революции,— повторял Маяковский, идя по улице и как будто еще продолжая спор с наушниками.— К делу! К делу!

Дойдя почти до Сухаревки, он свернул в подъезд невзрачного дома. Внутри дома шел длиннейший темный и сырой коридор, в который выходило множество дверей. Слышался шум, говор многих голосов, стук машинки.

Маяковский толкнул одну из дверей, и навстречу ему ринулся столб дыма. Он закашлялся и, прикрывая рукой глаза, вошел в огромную холодную комнату, в которой толпилось несколько человек.

На столах и стульях валялись газеты, рисунки, висели листы бумаги величиной с большое окно.

В углу несколько человек резали по готовым плакатам трафареты и тут же передавали их на соседний стол. А там уже дожидались художники-трафаретчики: они накладывали трафарет на чистый лист бумаги и большими кистями мазали по трафарету краской.

Это был способ, придуманный Маяковским. Таким способом в течение нескольких часов можно было нарисовать до двухсот плакатов.

У задней стены стояла железная печка «буржуйка». Ее только что растопили сосновыми шишками и бумагой, и она дымила так, что по всей комнате тучами летала копоть.

— На что нужна эта скотина? — мрачным басом проговорил Мая-

ковский, кивая в сторону печки. Его желтая куртка и светлая фетровая шляпа сразу покрылись черным загаром.

— Товарищи, Маяковский пришел! — раздались радостные голоса.— Принесли плакат, Владимир Владимирович? Давайте скорей, пустим в производство.

Маяковского окружили. Он развернул плакат: крохотная фигурка рабочего со страхом глядела на тучного, раздутого пана. Под этой картинкой стояла подпись:

Товарищи, не поддавайтесь панике! Она
Делает обыкновенно из мухи слона.

На другой картинке тот же рабочий, большой и самоуверенный, презрительно глядел на крохотного пана:

Но и востро держать ухо,
Чтоб из слона не получилась муха,—

гласила подпись. И тут же было показано, что получится: если на панов не обращать внимания, они воткнут в спину рабочего нож.

Плакат и подписи сейчас же передали трафаретчикам. Из РОСТА (Российского телеграфного агентства) принесли новые телеграммы.

«Конница Буденного отразила наступление белополяков и вырвала у них город Н.».

— Через сорок минут, самое большее, через час известие об этой победе должно висеть в окнах,— озабоченно сказал Маяковский.— Ну-ка, товарищи, кто хочет доказать свою оперативность? Вон на часах Сухаревой башни сейчас пять минут первого. Предлагаю состязание: кто первый набросает фигуру пана?

— Идет!

Два художника придвинули к себе бумагу. В комнате сразу повеселело. У всех появилось мальчишеское, азартное настроение.

— Начинать по команде,— распоряжался Маяковский.— Внимание! Я считаю до трех! Раз. Два. Три!

По счету «три» все трое бросились к бумаге и принялись быстро водить по листу карандашами. Остальные с любопытством следили за соревнованием. Прошло несколько минут.

— У меня готово,— с торжеством объявил Маяковский.— Засекаю время: двенадцать минут три секунды.

И он показал собравшимся художникам свой лист. Смелыми и резкими штрихами был нарисован толстый чванливый пан в конфедератке.

— Я нарисую сейчас рабочего, а подпись у меня уже готова,— сказал Маяковский и прочел громко:

Украинцев и русских клич один —
Да не будет пан над рабочим господин!

— Здорово! — в один голос воскликнули художники.— Быстрота прямо машинная!

И первое место было единогласно присуждено Маяковскому.

Ошалелый от работы заведующий отвел Маяковского в сторону.

— Понимаете, к завтрашнему утру нужен еще один плакат,— сказал он извиняющимся тоном.— Это можете сделать только вы, Владимир Владимирович.

— Тема? — спросил Маяковский.

— Борьба с вошью. Бойцы умирают от сыпняка.

— Будет сделано,— по-военному сказал Маяковский.

— А вы не проспите? — пытливо спросил заведующий, глядя на желтое лицо Маяковского и его воспаленные от бессонницы глаза.

— Раз нужно — не просплю,— сказал Маяковский.— У меня средство такое есть, чтобы не проспать.

— Какое? — спросил заведующий, который сам уже давно забыл, что такое сон.

— Полено под голову,— сказал Маяковский,— я его кладу вместо подушки.

Умер Ленин

Пахло хвоей и какими-то нежными зимними цветами. Шелестела музыка. Мимо строгих белых колонн живой траурной лентой двигались люди. И казалось, будто люстры, обвитые черным крепом, дымятся, как погребальные факелы.

Со своего места у колонны Маяковский видел крутой огромный лоб Ленина, осунувшееся бледное лицо, русую бородку. Когда-то в детстве он уже смотрел в такое же спокойное, застывшее, очень дорогое лицо. И сразу припомнился ему мертвый отец, плачущие объездчики, сжавшаяся в горе мать и тот же запах цветов — холодящий и тонкий.

Как в тумане, различал он седеющую голову Надежды Константиновны и уже не знал, где кончается воспоминание и начинается действительность, и путался, смешивая в памяти обеих горюющих старых женщин. Все повторялось. Только теперь над гробом Ленина плакала вся страна. Умер Ленин. Маяковский повторял это себе и все никак не мог понять до конца. Ведь еще так недавно праздновали пятидесятилетие Ленина, и он, Маяковский, писал:

Я
в Ленине

мира веру
славлю
и веру мою.

Еще раньше, когда о Ленине знали только понаслышке, когда тайком читали его книги, Маяковский уже преклонялся перед ним. В начале революции на Невском какая-то женщина в толпе громко кричала, что Ленин продался капиталистам. Тогда Маяковский схватил женщину за руку и крикнул:

— Эта гражданка украла у меня кошелек!

Женщина отбивалась:

— Пустите меня! Как вы смеете?! Вы лжете!

— Это такая же ложь, как и та, что вы распускаете,— сказал ей Маяковский.— Вы не имеете права говорить так, если ничем не можете доказать свои слова.

И женщина ушла, пылая от стыда.

Пятого марта 1922 г. в «Известиях» Маяковский напечатал стихотворение «Прозаседавшиеся», а на следующий день Ленин, выступая на съезде металлистов, сказал:

— Вчера я случайно прочел в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему... В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно.

Маяковский ходил именинником, и все поздравляли его. Как он радовался тогда! Подумать только: Ленин, сам Ленин похвалил его стихи!

Спрятав лицо в воротник куртки, Маяковский вышел на улицу. Стоял небывалый мороз. На всех перекрестках вокруг костров смыкались и размыкались тени людей.

Огибая углы, теснясь по площадям, двигалась по Москве невиданная, страшная очередь. Никто не разговаривал, никто не бил в ладоши, чтоб отогреть стынущие руки, как будто каждый боялся потревожить покой уснувшего Ленина.

С похорон Маяковский вернулся поздно. Он долго дул на онемевшие от мороза пальцы, как-то весь кривился и молчал. Несколько дней бродил хмурый, почти ни с кем не разговаривая.

Стихами закрепил в себе воспоминание об этой страшной январской ночи:

Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют давкою тесной.
Даже
от холода

бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.

Потом Маяковский с жаром набросился на книги Ленина. Собирал рассказы о детстве Ильича. Искал людей, с которыми встречался и говорил, которым помогал Ленин. Во всех книгах и рассказах ему хотелось найти что-нибудь такое теплое, что сразу показало бы всем, какой замечательный Ленин вождь и человек.

Узнал, что Ленин любил старую революционную песню:

Служил ты недолго, но честно,
На благо родимой земли.
Мы сами, родимый, закрыли
Орлиные очи твои,—

и сейчас же переписал ее в свою записную книжку. Там, в этой книжке, было уже много стихотворных строк о Ленине. Маяковский задумал новую большую поэму.

Летом он уехал на юг, к морю. Чемоданы его были набиты книгами Ленина.

Не в тихий час, не за письменным столом писалась поэма. Маяковский работал на улицах, в вагоне, в сутолоке вокзалов. Про себя, вполголоса бормотал новую, только что пришедшую на ум строфу. Долго проверял ее на слух, будто прощупывал каждую строчку.

Он заехал в небольшое селение на берегу Черного моря. В селении, среди фруктовых садов, жили рыбаки и садоводы. Маяковский зашел к одному украинцу, веселому и хозяйственному.

Украинец показал ему свой сад: с деревьев свешивались тяжелые яблоки и груши.

За садом, на бахче, лежали, притаившись меж листьев, огромные зеленые арбузы, похожие на спины гигантских черепах, и желтые, покрытые легкой сеткой, дыни. Сладкий ананасный дух подымался с нагретых солнцем плодов.

— Нынче урожай на дыни,— сказал хозяин.— Каждый день по два десятка снимаю. Сейчас угощу вас особенной.

И он на четвереньках заползал по земле, выбирая самую лучшую дыню.

Маяковский молча съел несколько кусков дыни, молча простился с хозяином. Украинец был удивлен: только что гость расспрашивал обо всем, интересовался урожаем, а теперь молчит. Может, недоволен чем-нибудь?

А Маяковский, выйдя от украинца, загудел, забормотал про себя, вздыхая и посапывая, то закуривая, то бросая папиросу:

Зрели, зрели, назревали дыни...

Он не отвечал на вопросы, словно вдруг оглох. Стихи вырывались у него сквозь стиснутые зубы, сквозь папиросный дым. И вдруг отчетливо выговорилась строка:

Назревали,
зрели дни, как дыни...

И вечером в записной книжке появилась новая строфа поэмы:

Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.

Через восемь месяцев поэма была закончена. Маяковский назвал свое новое произведение «Владимир Ильич Ленин» и посвятил его Российской коммунистической партии.

Впервые Маяковский читал «Ленина» на собрании московских большевиков. Волновался: люди, слушающие поэму, близко знали живого Ильича; они почувствуют малейшую фальшь.

Захлебнулся
колокольчика ненужный щелк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слезы не сжуешь
с усов и щек.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,
клокочет в вене.
— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!

— Вы не дали нам нового Ленина в своей поэме,— сказал Маяковскому, поджимая тонкие губы, его литературный враг.

Маяковский усмехнулся.

— Для меня и старый Ленин был достаточно хорош,— невозмутимо ответил он.

Будите меня, не стесняйтесь

В Москве Маяковский жил в двух крохотных комнатенках, в которых было тесно его большому телу.

Дом был двухэтажный, совсем как где-нибудь в Кутаисе, и окнами выходил в тихий, мощенный булыжником переулок.

В одной комнате стоял письменный стол, тахта, на которой Маяковский спал, и простой деревянный шкаф, сделанный по его рисунку.

Внутри, на дверце этого шкафа, он придумал особую полочку для бритья.

На стене висел очень хороший портрет Ленина и пестрый мексиканский коврик «сарапэ», который Маяковский привез из своей поездки в Америку.

В углу были сложены его дорожные вещи: чемодан, подушка, складная ванна. Все было чисто, прибрано и чинно, будто в комнате живет не мужчина двухметрового роста, а молодая девушка.

Вторая комната служила столовой, и в ней Маяковский принимал посетителей. Здесь стоял небольшой стол, шкаф с посудой, несколько стульев и висела полка с книгами.

На стенке у окна висел телефон с длинным шнуром у трубки. Такой длинный шнур был сделан нарочно: Маяковский во время телефонных разговоров шагал, словно пушкинский ученый кот, то вправо, то влево по всей комнате.

Было еще совсем раннее утро, когда зазвонил телефон.

Маяковский в полосатой пижаме, растрепанный и сердитый, вышел из соседней комнаты и сорвал со стены трубку.

— Что нужно? — рявкнул он в телефон.— Что? Да, Маяковский. Говорите яснее, товарищ, у вас каша во рту.

В трубке говорили что-то извиняющееся и просительное. Маяковский выслушал внимательнее, и с его лица сошло сердитое выражение.

— Электрозавод? — переспросил он.— Помочь? Пожалуйста, скажите, что вам нужно.

Говорил секретарь завкома. Он очень извиняется, что потревожил товарища Маяковского в такую рань. Но положение — труба!

— У нас на электрозаводе начинается десятидневник борьбы с потерями,— сказал он.— Нужны дозарезу лозунги в стихах. Мы уже

обращались ко многим поэтам, но никто не хочет. Говорят: «черная работа», «такой поэзией не занимаемся»...

— А вы плюньте на таких поэтов,— посоветовал Маяковский.

— Теперь надежда только на вас, товарищ Маяковский,— продолжал секретарь.— Если уж вы не поможете, тогда...

— С удовольствием приду на помощь,— перебил его Маяковский.— Так вы говорите, лозунги к десятидневнику борьбы с потерями?

Секретарь сказал, о чем нужно написать, и опять принялся извиняться, что потревожил так рано.

— Бросьте, товарищ! — прикрикнул на него Маяковский.— Если нужно, не смотрите на мой отдых или сон, тяните с постели. Будите меня, не стесняйтесь.

Он положил трубку и развернул газеты на столе. Каждый день Маяковский прочитывал шесть-семь газет. Его интересовало все, что делается в мире.

В этот день в «Известиях» и «Комсомольской правде» были напечатаны его стихи. Маяковский уже несколько лет печатался в этих газетах. Он писал стихи о грязи, о лодырях, о беспризорных, о новых советских законах. Стихом Маяковский боролся со всеми недостатками, которые видел в своей стране.

Проглядев газеты, он прошел в ванную, и вскоре оттуда послышался плеск воды и довольное фырканье. Он мылся долго и тщательно — чистоплотность его среди друзей вошла в поговорку. Если ему заказывали стихи о борьбе с грязью, он с удовольствием писал:

Товарищи,
мылом и водой
мойте руки
перед едой.
Зубы
чисть дважды,
каждое утро
и вечер каждый.
Мойте окна,
запомните это,
окна — источник
жизни и света.

Когда, вымытый и выбритый, он сидел за чаем, снова зазвонил телефон. Просили приехать в Резинотрест. Очень нужны стихи о сосках, потому что в деревнях детям дают сосать вместо сосок грязную тряпку...

— Гм... соски...— промычал Маяковский и, усмехнувшись, придумал:

Лучше сосок не было и нет.
Готов сосать до старости лет.

Телефон радостно ахнул:

— Замечательно! Вот это самое нам и нужно, товарищ Маяковский!

Не успел он повесить трубку — стук в дверь. С фабрики привезли образцы конфетных оберток с видами Москвы. Это была карамель «Красная Москва», для которой Маяковский делал подписи в стихах.

Он проглядел обертки. Вот картинка, где нарисован Кремль:

Слушай, земля,
Голос Кремля.

А вот Манеж:

Раньше царевы конюшни были,
Теперь отдыхают рабочие автомобили

Маяковский прочел вслух каждую подпись, проверил еще раз. Ко всему, что он писал, будь то конфетная обертка или большая поэма, он относился одинаково серьезно и добросовестно.

Когда посланный увез обертки на конфетную фабрику, Маяковский задумчиво зашагал по комнате.

Теперь — за лозунги для электрозавода! Секретарь просил написать как можно скорей.

На заводе начинают бороться с порчей инструментов и материала. Хотят, чтобы не было лодырей — значит, дело идет о том, чтобы сохранить государству многие тысячи рублей. Это серьезное задание.

— Борись с порчей, с порчей...— глухо бормотал Маяковский про себя, меряя шагами расстояние от стола до двери и от двери до окна.

Вечером сияющий секретарь привез на электрозавод готовые лозунги:

Лентяев и разгильдяев
сметайте начисто.
Даешь работу высшего качества!

Каждая работница, каждый
рабочий,
береги материал, борись
с порчей.

— Вот это наш, настоящий революционный поэт!— сказал секретарь.

И если бы Маяковский его слышал, это была бы для него самая высшая похвала.

Деткор

— Ого, гляди, какой верзила шагает! — толкнул Паша Аверкиев соседа.

Ребята во все глаза смотрели на приближающегося к ним человека.

Он был такого роста, что даже на стадионе, где все казались маленькими, он оставался огромным.

Его бритая по-летнему голова сидела на широченных плечах. Руки, как всегда, были втиснуты в карманы, а ноги в желтых ботинках так непринужденно шагали через скамьи и барьеры, словно их вовсе не существовало. Со всех сторон на него глазели заинтересованные ребята. Подбежали два милиционера:

— Гражданин, где ваше место? Нельзя шагать через барьер!

— Почему нельзя? — хладнокровно прогудел человек.— Мне мои ноги позволяют.

Он выгреб из кармана целую кучу каких-то бумажек.

— Я писатель, газетчик, я должен все видеть...

Милиционеры мельком глянули на бумажки и вдруг оба заулыбались:

— Пожалуйста, проходите, товарищ Маяковский.

Маяковский! Имя взлетело над стадионом, как тугой, звенящий мяч. Его ловили, хватали, перебрасывали с трибуны на трибуну, передавали соседям и, наконец, с грохотом аплодисментов обрушили на зеленый ковер стадиона.

О, все ребята отлично знали, кто такой Маяковский! Кто еще из взрослых поэтов писал тогда так много для ребят? Это он, Маяковский, написал «Историю Власа — лентяя и лоботряса», и «Сказку о Пете — толстом ребенке...» и «Кем быть?», и «Что такое хорошо и что такое плохо». Это он написал пионерам «Майскую песенку» и «Мы вас ждем, товарищ птица...»

А когда «Пионерская правда» проводила смотр военной работы, это Маяковский позвонил в редакцию:

— Прочел вашу газету. Замечательное дело! Так понравилось, что даже написал песню... Слушайте.

И Маяковский прочел «Возьмем винтовки новые».

— Пожалуй, я скоро стану постоянным деткором,— усмехаясь, сказал он редактору «Пионерки».

И вот теперь «деткор» приехал на Всесоюзный пионерский слет.

Стадион был похож на бильярдный стол — огромный, зеленый и плоский. А по краю стола шел цветочный бордюр косынок, ребячьих лиц и пестрых платьев. От этого зрелища Маяковский сразу обмяк, стал восторженно-добрым. Паша Аверкиев услышал, как он пробормотал:

— Что делается! Ведь это уже социализм!

Паша громко сказал товарищу:

— Маяковский здорово похож на свою фамилию, правда?

Маяковский двинулся к главной трибуне. И вдруг из десяти рупоров, сразу перекрыв нестройный гул, раздался голос, подобный реву пароходной трубы:

— Я прочту вам, товарищи пионеры, «Песню-молнию». Я написал ее для Всесоюзного пионерского слета.

За море синеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев,
сюда, миллионы сестер!
Китайские акулы,
умерьте
вашу прыть,—
мы
с китайчонком-кули
пойдем
акулу крыть.
Веди
светло и прямо
к работе
и к боям,
моя
большая мама —
республика моя.
Растем от года к году мы,
смотри,
земля-старик,—
садами,
огородами
сменили пустыри.
Везде
родные наши,
куда ни бросишь глаз.
У нас большой папаша —
стальной рабочий класс.
Иди
учиться рядышком,
Безграмотная старь.
Пора,
товарищ бабушка,
садиться за букварь.
Вперед,
отряды сжатые,
по ленинской тропе!

У нас
    один вожатый —
товарищ ВКП.

Стадион заколыхался, вскричал, вскочил, взметнул вверх тысячи рук и косынок.

— Маяковский! Маяковский!!!

Его не хотели отпускать.

В руках у Маяковского был номер «Пионерской правды» с напечатанной «Песней-молнией».

Газета сообщала:

«Авиэтка «Пионерская правда» передана Красному воздушному флоту. Боевой привет строителям авиэтки! Строим звено авиэток имени Всесоюзного слета».

Маяковский внимательно прочел заметку, вынул карандаш и, еще раз оглядев зеленый стадион, приписал на полях газеты добавление к «Песне-молнии»:

Не белоручки-дети мы,
мы — юные бойцы,
взовьемся авиэтками
земле во все концы.

Чудовище

Он приехал в город к вечеру, очень усталый. В дороге несколько раз лопались покрышки автобуса — подолгу стояли, чинились, и от этого путь казался бесконечным.

В этом городе он уже был однажды, до революции. Тогда они приезжали сюда с Бурлюком и Васей Каменским и на вечере вдрызг разгромили сонных обывателей городка.

Он шел по темной улице и старался вспомнить, как она выглядела тогда, до революции.

Завтра — выступление. До ночи нужно еще продиктовать машинистке несколько заметок и стихов, которые он привез с собой. А потом — спать, спать.

Ему дали адрес машинистки. На безлюдной площади хрипло и беспорядочно ревел громкоговоритель. Дома были низкие, большей частью деревянные. В один из таких домишек он постучал, назвал себя и спросил Ольгу Ивановну.

За дверью испуганно охнули:

— Маяковский? Диктовать? Господи, вот беда какая!

Ольга Ивановна вмиг припомнила все, что рассказывали о Маяковском: великан; заговорит — стекла звенят; грубый, невежа — словом, прямо чудовище.

Но тут Маяковский нетерпеливо толкнул дверь, и перед ним очутилась маленькая старушка с чисто-начисто вымытыми морщинками.

Чем-то она напомнила Маяковскому мать. Он вежливо снял шляпу и, стараясь умерить голос, повторил свою просьбу.

— Войдите,— пролепетала старушка.

Она привела его в крохотную комнату, всю заставленную горшками с фуксией и геранью. Тикали часы, толстый серый кот спал на постели.

Маяковский осторожно переставлял ноги, чтобы не зацепить чего-нибудь, не нарушить старушечий уют.

Ольга Ивановна оказалась отличной машинисткой. Ее маленькие морщинистые пальцы проворно летали по клавишам. Маяковский сначала продиктовал какую-то статью, потом перешел к стихам.

«Кто это говорил, что у Маяковского не стихи, а булыжники? — подумала Ольга Ивановна.— Неправда. Стихи очень сильные, талантливые».

Она все еще боялась своего клиента, хотя через плечо мельком видела, что Маяковский нежно гладит серого Васю.

Маяковский продолжал диктовать. Ольге Ивановне вдруг стало холодно, она задрожала, перепутала одно слово, но тотчас же исправила. Дрожь поднималась в ней все сильней. Как сквозь дремоту, долетали до нее диктуемые слова.

— Вам холодно? — закричал ей в самое ухо Маяковский.

— Нет... то есть да... немножко...— выдохнула она через силу.

Все кружилось перед ней, но она продолжала стучать на машинке. Одна мысль вертелась неотступно у нее в голове: достукать, докончить то, что диктует этот страшный клиент, а то он будет сердиться, кричать, даже, быть может, топать ногами...

— Немедленно бросьте печатать,— решительно сказал Маяковский: — Вы больны. Сейчас же ложитесь в постель.

— Приступ... Малярия...— боязливо шептала Ольга Ивановна.— Так неприятно...

— Прекратите разговоры! — потребовал страшный клиент.— Где живет врач?

Озноб подбрасывал маленькое старушечье тело. Ольга Ивановна почувствовала, как сильные руки перенесли ее на постель, взбили подушку. Потом вдруг что-то теплое, мягкое накрыло ее до самого подбородка. Что это? У нее никогда не было такого хорошего одеяла! И тут она увидела, что клиент стоит в шляпе, но без пальто.

Маяковский в темноте метался по незнакомым улицам: «Черти врачи, наверное, все дрыхнут». Ну, да уж он сумеет их приволочь к старухе. Надо скорей вернуться, а то вдруг ей совсем нехорошо станет...

Ольга Ивановна открыла глаза. Теперь она вся горела, озноб сменился сильнейшим жаром.

— Пить...— пробормотала она.

Большая рука подала ей чашку с водой. «Опять он здесь, этот... это чудовище?» Она хотела что-то сказать, но над ней наклонилось лицо знакомого врача.

— Типичная малярия,— сказал он.— Завтра встанет как ни в чем не бывало, но сегодня за ней нужен уход. Не знаю, как быть, ведь она совсем одна...

— Как одна? — раздался грозный голос.— А меня вы, что, за мебель считаете?

Бесконечно тянулась ночь. Маяковский два раза бегал в аптеку, грел чайники, мерил Ольге Ивановне температуру, давал хинин, поил Ваську молоком, раз десять мыл руки.

К утру температура спала. Ольга Ивановна скинула с себя пальто.

— Пожалуйста, возьмите,— сказала она, пугливо глядя на Маяковского.— Мне оно теперь не нужно. Я скоро встану, я допечатаю...

Она порывалась подняться.

— Молчать! — цыкнул на нее Маяковский.— Не резвитесь, товарищ. Вы будете у меня лежать целый день. А вечером я посмотрю, если вы будете молодцом, я, пожалуй, возьму вас на мое выступление.

Он притащил соседку Ольги Ивановны и поручил ей присматривать за больной.

А вечером в городской театр шла очень странная пара: огромный плечистый верзила и беленькая, как грибок, старушка.

Ольга Ивановна была еще слаба, но не посмела отказаться от приглашения. А вдруг Маяковский рассердится, закричит на нее? Она надела на белые волосы старомодную наколку и у ворота приколола брошь.

Вокруг театра бушевали не получившие билетов:

— Ма-я-ков-ский! Про-пус-ти-те!

Пятьдесят шесть городов Советской страны объездил Маяковский с лекциями и стихами. И всюду — в Пензе и Витебске, в Луганске и Ялте — залы были набиты, как трамваи в праздники.

Люди стояли в проходах, сидели друг у друга на коленях, толпились у дверей.

— Опять вавилоненье столпотворенское,—усмехнулся Маяковский, кивая на толпу.— Сколько лет выступаю, а публика все прет!.. Мне нужно кресло первого ряда,— сказал он взмокшему администратору.

— Владим Владимыч, побойтесь бога,— взмолился администратор,— ведь я уж по вашему распоряжению полсотни пропусков раздал! У меня ничего не осталось...

— Не дадите — вечер отменяется,— хладнокровно сказал Маяковский.

Через пять минут со своего места в первом ряду Ольга Ивановна

увидела, как он быстрыми шагами вышел на сцену. Она пристально разглядывала Маяковского. Под мышкой у него портфель. Серый костюм «рябчиком». Все его вещи — плотные, добротные, большие. Костюм хорошо обмялся, большие карманы брюк оттопырены — видно, он постоянно держит руки в карманах.

Он с грохотом придвигает к себе стул, снимает пиджак и аккуратно вешает на спинку. Не мешайте, Маяковский работает!

Он делает доклад, если можно назвать докладом этот разговор со слушателями.

Он издевается над поэтами, которые продолжают воспевать луну и любовь, когда у страны еще так много внешних и внутренних врагов.

Нет, стихи должны быть сильными сторожевыми овчарками, которые несут дозорную и оборонную службу, а не кудрявыми комнатными болонками. Он обращается к тем, кто пишет стихи-болонки:

В испытанье
                битв
                        и бед
с вами,
          што ли,
                  мы
                        полезем?
В наше время
                    тот —
                            поэт,
тот —
        писатель,
    кто полезен.

— Эй вы, в третьем ряду, перестаньте сейчас же читать свою газету! — говорит он вдруг.— Здесь слушают меня, а не читают. Вам не интересно? Вот вам трешка за билет — и можете уходить.

— Маяковский! — кричит со своего места длинноволосый субъект.— Вы, что, думаете, что мы все идиоты?

— Почему все? — басит Маяковский.— Пока я вижу перед собой только одного.

Обиженные начинают шуметь.

— Тише, товарищи,— говорит Маяковский,— все равно вам меня не переорать! Раз я начал говорить, значит, доконччу.

Голос его легко перекрывает весь шум. Выскакивают, как чертики из коробки, литературные противники Маяковского. Но он одним ответом словно захлопывает над ними крышку:

— Вы, товарищ, возражаете, как будто воз рожаете.

— До меня ваши шутки не доходят,— злится противник.

— Значит, вы жирафа,— невозмутимо отвечает Маяковский.—

Жирафа промочит ноги в понедельник, а насморк почувствует только к субботе.

Противники спасаются бегством. Зал бешено хохочет и аплодирует.

Потом Маяковский читает стихи.

Уже с первых строк зал замирает и настораживается. Голос чтеца, мощный, мягкий и бархатистый, заполняет все уголки. Уже никто не смеется и не острит. Зал побежден и очарован.

Ольга Ивановна, сжавшись в комочек, слушает молча, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорит ее лицо. Оно тянется навстречу читающему, удивляясь и благодаря. Старая женщина слушает, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенная новой для нее радостью.

На сцену сыплются записки. И опять Маяковский неистощимо находчив и остроумен. Он перечитывает записки вслух и тут же отвечает.

— «Маяковский, ваши стихи скоро умрут. Вас забудут». А вы зайдите через тысячу лет. Там поговорим.

— «Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли»... Надо иметь умных товарищей.

Слушатели хохочут до слез. Самые серьезные люди не могут удержаться от смеха. И опять читает Маяковский стихи, и опять стоит такая тишина, что слышно, как поскрипывает кресло под грузным дядей из второго ряда.

Но вот вечер окончен. В зале тушат свет. Ольга Ивановна топчется в раздевалке.

Ей хочется еще раз увидеть Маяковского, сказать ему, как ей понравились его стихи, и еще что-то.

Мимо нее проходит с перекошенным лицом длинноволосый субъект.

— Черт знает что! — бормочет он сквозь зубы.— Сплошное издевательство! Распоясавшийся нахал! Чудовище грубости!

Ольга Ивановна поправляет наколку и нежно улыбается: она-то знает теперь, какое это замечательное чудовище!

Полпред советского народа

В купе ехали трое: плотный бритый англичанин, американец с красным, будто обветренным, лицом и высокий пассажир в сером дорожном костюме.

Англичанин с американцем скучно поговорили об обеде в вагоне-ресторане. Третий пассажир не принял участия в разговоре. Он жевал папиросу и смотрел в окно.

Поезд остановился. Граница. Из окна были видны две казармы и серый забор, оплетенный колючей проволокой.

Вошли чиновник в таможенной форме и жандарм, блестящий, как детская погремушка.

— Позвольте ваши паспорта,— сказал чиновник.

Он почтительно взял английский паспорт — с двумя львиными головами. Потом, угодливо согнув спину, принял паспорт американца. Третий пассажир, не торопясь, сунул руку в широкий карман брюк и вынул оттуда большую красную книжку с золотым советским гербом.

Рот у чиновника искривился, словно он глотнул чего-то горячего.

Он взял краснокожую книжку, как берут горящую головню,— торопясь и боясь обжечься.

— «Ма-я-ковский»,— прочел он вслух и поднял внезапно заблестевшие глаза: он был очень любопытен, этот чиновник с остренькой мордочкой. По вечерам вдвоем с женой он любил обсуждать все события на таможне.

Так вот он какой, знаменитый поэт-большевик, о котором давно уже трубят все газеты! Только сегодня чиновник прочел в газете, что через стихи Маяковского на запад проникает большевизм.

«Рост — два метра, не меньше,— соображал он про себя,— вес — килограммов восемьдесят пять, а то и больше. Ох, будет что рассказать сегодня вечером Стасе!»

Он скосил глаза на жандарма. Тот придвинулся ближе.

— Пройдите на станцию. Там осмотр вещей.

У англичанина и американца тоже осматривали вещи — таков был закон таможни. Но их чемоданы чиновник только слегка приоткрыл и тут же с поклоном захлопнул. С Маяковским было иначе. Жандарм тронул чиновника за рукав: нужен тщательнейший осмотр!

Чиновнику и самому было любопытно знать, что везет с собой этот страшный большевик. Сталкиваясь лбами, мешая друг другу, жандарм и чиновник принялись рыться в вещах Маяковского.

На оцинкованный прилавок таможни вываливались чистейшие рубашки, бритва, мыльница, щетки. Маяковский с насмешливой улыбкой наблюдал добровольных сыщиков. Что-то веселое, мальчишеское подымалось в нем, его подмывало гаркнуть во всю мочь:

— Ищите, ищите, панове, все равно самого главного не найдете!

Он думал о взрывчатом веществе, которое на этот раз он вез за границу. Что, если бы о нем узнали жандармы и чиновники?!

— А это что такое? — Любопытный чиновник вытащил пачку книг.

— Мои стихи,— сказал Маяковский.

«Вот они, большевистские стихи! — загорелся чиновник.— Прочи-

тать хоть несколько строк, посмотреть, как это может в стихах таиться большевистская опасность!»

Пока жандарм выстукивал дно чемодана и пальцами прощупывал подкладку, чиновник перелистывал книги. Детские стихи, какая-то «Мистерия Буфф».

— А, вот здесь говорится что-то о Париже, об Америке. Посмотрим...

И чиновник совсем погрузился в чтение.

Не в первый раз ехал Маяковский за границу. Он уже побывал в Латвии, Германии, Франции, Польше, Чехословакии, Америке, Мексике и на острове Куба.

И всюду, куда он приезжал, он выступал с докладами и лекциями о литературе, о том, какая замечательная страна Советский Союз, как живут и работают советские люди. Он любил свою родину, гордился ее делами, ее людьми и всем о ней рассказывал.

На доклад-митинг Маяковского в Чикаго пришли полторы тысячи рабочих.

«Газета права, это опасные стихи»,— думал, между тем, чиновник, пробегая глазами строчки:

Куда б в Париже ни пошел,
картину видишь ту же:
живет богатый хорошо,
а бедный —
много хуже.

Чем дальше читал чиновник, тем больше он удивлялся и пугался, Маяковский совсем по-новому описывал то, что он видел за границей. За нарядной внешностью городов он подметил нищету и голод. В Америке ему показали Бруклинский мост над рекой Гудзон — замечательное сооружение из стали. А Маяковский увидел, что с этого замечательного моста бросаются в Гудзон безработные.

«У этого человека особенные глаза,— размышлял чиновник: — Он видит то, чего не видят другие».

Он не догадывался, что Маяковский смотрит на все глазами советского человека.

— А здесь я вижу книжку прозы. Значит, вы пишете не только стихи? Да? — спросил неугомонный чиновник.

Ему захотелось заглянуть и в эту книжку. Он наткнулся на описание боя быков в Мексике:

«Сначала пышный, переливающий блестками парад, и уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену...

Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственно, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять».

— Ага, вот уже и пулеметы! — пробормотал чиновник.

Ему ужасно хотелось дочитать, но жандарм бесцеремонно выхватил у него книжку. Чемодан был выпотрошен и обстукан со всех сторон. Жандарма злило, что ни к чему нельзя придраться.

— Имеете что-нибудь запрещенное на себе? — задал он обычный вопрос.

Маяковский посмотрел на него простосердечно и до удивительности честно.

— Абсолютно ничего,— сказал он.

Три пассажира вернулись в купе.

Вагон мягко толкнуло: поезд отходил от станции. На перроне стоял любопытный чиновник и, вытянув шею, старался еще раз увидеть поэта-большевика.

Англичанин и американец жевали мятные лепешки. Маяковский вынул бумажник и вытащил из него сложенные в крохотный квадратик листы тончайшей папиросной бумаги, сплошь покрытые буквами. Это и было то взрывчатое вещество, которое он вез за границу — его поэма «Владимир Ильич Ленин».

Враги и друзья

Накаленный за день асфальт поддавался под ногами. На улицах гасли фонари. Уже складывали свои инструменты музыканты в кафе и служащие убирали стулья с тротуара. Но было лето, и по улицам долго еще шаркали подошвы гуляющих.

В номере было душно. Маяковский растворил обе половинки окна, снял пиджак и с удовольствием расправил плечи. Он очень устал.

И все-таки самая усталость была ему приятна. Только что кончился его вечер, только что орали и бесновались от восторга слушатели, только что толпа молодежи провожала его до самой гостиницы и на все лады повторяла его имя.

Еще вчера на прилавках книжных магазинов лежали непроданными его стихи, а сейчас во всем городе не найти ни одной его книжки: все расхватаны и раскуплены.

Маяковский мог бы уже привыкнуть к славе и успеху, но каждый раз, когда его провожали овациями, он испытывал радость и внутреннее удовлетворение. Важнее всего было чувствовать, что его понимают и любят, что его работа поэта нужна и полезна.

И, припомнив вихрастую голову паренька, который особенно громко кричал с галерки: «Маяковский! Маяковский!», он выкурил последнюю папиросу и лег спать.

Утром солнце влезло в комнату, несмотря на задернутые шторы, и разбудило его. Он долго плескался в складной ванне, которую всегда брал с собой в путешествия, потом тщательно, с аппетитом побрился и спустился в кафе.

Утро было какое-то особенно голубое и душистое. Напротив в киоске продавали розы, и Маяковский купил маленькую красную только что распустившуюся розу. Ему хотелось подарить ее кому-нибудь, ну хоть этой беленькой курносенькой подавальщице в кафе...

Он собирался сказать ей что-нибудь шутливое, как вдруг мимо него пробежал газетчик.

— Вечер поэта Маяковского!— кричал он на бегу.—«Картонная поэма»!

Маяковский чуть не опрокинул столик, огромным скачком догнал газетчика и сунул ему в руку монету.

Газета была еще сырая и пачкала руки типографской краской. На видном месте была напечатана статья о выступлении Маяковского. Статья называлась «Картонная поэма». В ней говорилось о новой поэме Маяковского «Хорошо!», которую он читал на вечере.

«К десятилетней годовщине Октября трудящиеся СССР преподнесли республике ценные подарки,— насупив густые брови, читал Маяковский,— электростанции, заводы, железные дороги. Поэма Маяковского не принадлежит к такого рода ценным подаркам. Она скорее похожа на юбилейные, из фанеры и картона, расцвеченные и приготовленные к празднику арки и павильоны. Такая арка, как известно, недолговечна: пройдет месяц-другой, арка отсыреет, потускнеет, поблекнет, не остановит нашего взора...»

Маяковский отбросил газету, потом снова взял ее, снова перечитал заметку. Назойливо лезли в глаза слова: «Картон... потускнеет... недолговечна...» Казалось, будто эти жестокие слова отпечатаны жирным шрифтом.

Утро сразу вылиняло, потеряло аромат и краски. Маленькая роза валялась под столом. Маяковскому больше не хотелось шутить.

Его молодую, радостную, умную поэму уничтожил, отбросил, как ненужный хлам, какой-то мелкий газетный писака!

Враги!..

Они и после революции не оставляли Маяковского в покое. Чинов-

ники от литературы, бюрократы, бесталанные людишки, которые завидовали Маяковскому, которых он беспощадно высмеивал в стихах, не могли простить ему его таланта и силы.

В Москву Маяковский возвращался посеревший, осунувшийся. Пепельница в его купе была полна окурков. Он лежал на верхней полке, неловко поджав под себя длиннейшие ноги и невесело думал все о том же. Припоминал все прежние обиды.

Его, поэта пролетариата, обвиняют в том, что он пишет непонятно. Распускают слух, что он некультурен, что он ничего не читает. А он-то всю жизнь учится, старается совершенствовать свой талант! Да полно, в самом ли деле нужна его работа, то ли он делает, что нужно, не ошибается ли он?

У него затекали ноги, он ворочался на узкой вагонной койке. За окном мелькали станции, свистели паровозы.

«Всю свою жизнь я работал не над тем, чтобы красивые вещицы делать и ласкать человеческое ухо,— думал он,— как-то у меня все устраивалось так, что я всем доставлял неприятности. Основная моя работа — ругня, издевательство над тем, что мне кажется неправильным, с чем надо бороться...»

В Москву он приехал вялый и молчаливый. На письменном столе его ждала пачка писем. Он небрежно разорвал первый попавшийся конверт. И вдруг разгладилась морщина на лбу, сошла с лица серость.

«Когда на вас нападают, это смешно,— читал он.— Вы как слон, а они — как шавки. Вы ничего не знаете, как много вы даете. Вы мне кажетесь таким большим и светлым, как солнце... Примите от меня, деревенщины, мою благодарность и восхищение, дорогой, настоящий, большой товарищ. Пишите так же, как вы пишете, и пусть вы дольше живете, вы нужный, и вас любят».

Это письмо прислала Маяковскому неизвестная девушка из-под Ростова. Оно было похоже на пожатие крепкой, дружеской руки.

У него были еще и другие письма, которые он бережно хранил. Одно было от моряков миноносца, которые просили прислать им поэму «Хорошо!», другое — от школьницы Нины Фокиной из Таганрога. Нина Фокина сообщала, что в школе ей поручили сделать доклад о Маяковском.

«Я ужасно заинтересовалась, и ваши произведения произвели на меня колоссальное впечатление,— писала Нина.— Мне страшно захотелось передать это вам... Жду от вас ответа. От вас, понимающего нас, молодежь. Так хорошо понимающего и отвечающего нашим нравственным запросам. И хотя вы знаете это и без меня, мне хочется еще раз подчеркнуть огромность того влияния, которое вы оказываете на

большинство своими произведениями, то уважение и любовь, которыми вы здесь пользуетесь.

Ну, одним словом, цель моего письма — это сказать вам, вернее, не сказать, а крикнуть: «Владимир Маяковский! Мы преклоняемся перед вами!» Я пишу «мы», потому что нас много».

Маяковский бережно сложил полученное письмо и спрятал его вместе с другими. Значит, у него есть настоящие друзья!

Как-то вечером на имя Маяковского принесли большой пакет. В пакете был аккуратно уложен номер только что вышедшего журнала. Маяковскому бросилась в глаза заметка, озаглавленная: «Картонная поэма».

— Как! Опять этот пасквиль?!

На этот раз заметка была напечатана, как отзыв читателя о стихах Маяковского. Враги не остановились перед подлогом. Они пытались уверить всех, что Маяковский не нравится читателям. Тяжелая ярость подымалась в Маяковском. Он хотел бы излить эту ярость, загрохотать, смять врагов голосом, отшвырнуть их, как скомканный журнал.

И опять многие недели он ходил мрачный, устремив перед собой хмурый взгляд, почти ни с кем не разговаривая. Он начал избегать людей, которых раньше считал друзьями: может быть, они и не друзья вовсе? Он придирчиво искал в людях, в их словах враждебных намеков.

И вдруг все изменилось!

Маяковского пригласили читать его поэму на торжественном заседании в годовщину смерти Ленина.

В этот день Маяковский надел свой самый лучший костюм. Он с утра смотрел на часы, отменил заранее все деловые встречи. Ему казалось, что этот день будет весь занят. Да он и был занят весь: мыслями о вечере.

— Пожалуй, это самое ответственное выступление в моей жизни,— сказал Маяковский.

Когда Маяковский подъехал к Большому театру, оказалось, что еще слишком рано. Его провели через артистический подъезд. Зал только начинал наполняться. Всюду еще виднелся красный бархат незанятых кресел. Горела только верхняя люстра. Лампы на темном золоте лож еще не были зажжены. На сцене, украшенной зеленью и красными знаменами, стоял бюст Ленина.

Маяковский жадно смотрел в зал. Внезапно ему показалось, что он простудился и у него хрипнет голос. Он похолодел: неужели нельзя будет выступать?

К нему обратились с каким-то вопросом, он ответил и убедился, что с голосом все в порядке.

В зале зажгли все лампы. Осветили сцену. Теперь все ряды были заполнены.

Началось торжественное заседание, потом концерт, но Маяковский его не слышал.

Вдруг он вздрогнул: произнесли его имя. Была его очередь выступать. Потребовалась вся сила, вся выдержка, чтобы в этот день сохранить уверенность, размашистую и смелую манеру держаться.

Маяковский вышел на сцену, чуть покачался на длинных ногах, углы его губ нервно дернулись книзу. Он читал последнюю часть своей поэмы:

Я счастлив,
 что я
 этой силы частица,
Что общие
 даже слезы из глаз.
Сильнее
 и чище
 нельзя причаститься.
Великому чувству
 по имени —
 класс!

Он кончил, неловко поклонился и не ушел, а скорее убежал со сцены. А в зале грохотало ураганное рукоплескание.

Шуточный юбилей

Рамы были замазаны. Вата лежала между окнами, и на календаре был декабрь. Но зима стояла теплая. Днем в снегу на бульваре протаивались лысинки, ребята на просохших тротуарах играли в «классы», и, когда светило солнце, хотелось распахнуть шубу.

По улице шел Маяковский. Он был на голову выше всех прохожих и двигался, как большой ледокол, плечами разрезая уличную толпу. Фетровая шляпа, чуть сдвинутая назад, открывала его глаза и лоб с тяжелой поперечной бороздой.

Жуя папиросу, бормоча какие-то стихи, он зорко поглядывал по сторонам. Не многие умели так зорко глядеть, как Маяковский. Он подмечал все, и крупное и мелочи: залитую асфальтом площадь, которая еще вчера была покрыта булыжником, и урны, только что поставленные у домов.

Проехал новенький, недавно выпущенный с завода «газик», и Маяковский проводил его глазами. «Подумайте, первый советский легковой автомобиль!»

Он вспомнил, как любовался когда-то конками с империалами, и весело хмыкнул.

Двадцать лет минуло с тех пор, как он напечатал свои первые стихи. Большими шагами промерил Маяковский жизнь за эти двадцать лет. Все эти годы своим пером он боролся, убеждал, помогал переделывать мир. Теперь он видел своими глазами, как быстро менялась его страна.

Вырастали новые города, и заводы, и электростанции, и железные дороги. Росли новые люди. Осуществлялось то, за что боролся Маяковский.

Он глядел на новую Москву и вспоминал, какая она была, когда он впервые увидел ее.

Вон новый дом освободился от лесов. Дом весь стеклянный, и видно, как лифт бегает в нем, словно белка в колесе. На углу улицы разрыли яму — бурят скважину. Это для будущего метро.

Так, ничего не упуская, все замечая и глуховато подборматывая под нос отрывки своих и чужих стихов, Маяковский дошел до дому.

Дома его ждал сюрприз. В передней горой лежали накиданные шубы. Шел смутный говор. Едва он переступил порог, навстречу ему хор грянул кантату:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Тебе ура, ура!!

Он оглядывался, оглушенный, сбитый с толку. Все было перевернуто вверх дном. Комнаты стали неузнаваемы. Со стен и с потолков били в глаза огромные красные буквы афиш с его именем. Столы и стулья были вынесены, и вместо них вдоль стен стояли диваны, такие низкие, что сидящие на них стукались подбородками о собственные колени.

Маленькие комнатки были битком набиты народом. Тут собрались все самые близкие друзья Маяковского. Пришли его ученики и старые товарищи по литературным дракам. В углу белокурый человек, наряженный в кумачовую рубаху, играл на гармошке и пел частушки собственного сочинения.

— Кажется, здесь кого-то чествуют? — усмехаясь, сказал Маяковский, с трудом протаскивая себя сквозь ноги и руки друзей. Он, как некогда его отец, очень любил гостей.

Друзья сговорились устроить этот вечер в честь двадцатилетия работы Маяковского. Они все крепко любили этого большого, то хмурого, то насмешливого, то замкнутого, то детски-ласкового человека, такого великолепного горлана и верного товарища.

Сидящие на диванах смотрели на Маяковского, и оттого ли, что они видели его снизу, или на самом деле это было так, только он казался им в этот вечер необычно торжественным и величественным.

Вдруг раздался запоздалый звонок, и в комнату влетели два коричневых чемодана. За ними в дверях появился седой человек с огромным, будто нарочно приклеенным носом. Он показал рукой на себя, потом на чемоданы и сказал стихами:

Здесь новый гость. И не один:
с ним костюмерный магазин.

Все с любопытством ждали продолжения. Новый гость открыл чемоданы, и оттуда на колени сидящим полетели пестрые колпаки, костюмы клоунов, большие шляпы с перьями, блестящие шлемы, маски животных. Был даже полный рыцарский костюм, который напомнил Маяковскому его детство и увлечение Дон-Кихотом.

— Костюмироваться! Костюмироваться! — закричали гости, расхватывая костюмы и колпаки.

Маяковский не спеша выбрал маску барана, надел ее на себя и повернулся к друзьям.

— Вот теперь у меня лицо нормального юбиляра,— сказал он насмешливо.

Все покатились со смеху. У барана была, действительно, блаженно-глупая и напыщенная морда. Маяковский поглядел на себя в зеркало и остался очень доволен.

В комнату впорхнула девочка в белом платьице — дочь одного из друзей. Девочка залепетала что-то непонятное и восторженное. Она изображала многочисленных поклонниц Маяковского.

И все теперь твои мы дети,
В том смысле, что ученики! —

пропищала девочка под конец и глубоко присела.

Маяковскому стало жарко, он снял пиджак и маску и теперь сидел в рубашке, заложив по излюбленной привычке руки за пояс. Кругом продолжали говорить шуточные речи, разыгрывали шарады из произведений Маяковского, пили за его здоровье, пытались даже танцевать чечетку. Было далеко за полночь.

— Маяковский! Володечка! Прочтите стихи! — раздались настойчивые голоса, и все подхватили: — Стихи! Хотим слушать стихи!

— Какие? — спросил Маяковский.

— Какие хотите,— хором сказали сидевшие на полу.

— Я прочту маленький стих о лошади,— сказал Маяковский,— о лошади, которая упала на Кузнецком мосту.

И он прочел одно из самых любимых своих стихотворений: — «Хорошее отношение к лошадям», написанное в первые годы революции. Он читал негромко, будто про себя, будто забыл о том, что комната полна людей:

Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

Когда он кончил, друзья стали прощаться. За окном начинало светать, и никому больше не хотелось дурачиться.

Во весь голос

Он стоял на верхней перекладине лестницы-стремянки и кроил из широкого красного лоскута треугольные галстуки. Толстые лепные амуры смотрели на него с карниза пустыми, невыразительными глазами.

— Вот вам, крылохвостые, новая одежда. Прикройте ваше оперение,— говорил Маяковский, старательно повязывая амурам пионерские галстуки.

Повязав последний галстук, Маяковский слез с лестницы и отошел полюбоваться своей работой издали. Кивнул головой: амуры выглядели вполне прилично.

Уже много дней Маяковский почти не слезал со стремянки. Он готовил в клубе писателей выставку «Двадцать лет работы». Хотел показать всем, что он написал и сделал за двадцать лет, прошедших с того времени, как впервые были напечатаны его стихи.

Он сам собирал стихи и книги времен футуризма, плакаты и агитки первых годов революции. Он сам вколачивал гвозди, прибивал эти плакаты, расставлял книги на полках, устанавливал щиты с газетами.

Выставка готова. Через час откроются двери, и войдут первые посетители.

Маяковский нервно курил, скрывая свое возбуждение под разными незначащими словами. Он, этот большой человек и большой поэт, чувствовал себя неуверенным. Ему казалось, что выставка неинтересна, что те, кто придет, станут скучать.

— Признайтесь, скучно вам? Однообразная выставка? — приставал

он к молодому экскурсоводу, который помогал ему все организовать.

— Да бросьте, Владимир Владимирович, что вы все выдумываете,— отмахивался тот.

Но Маяковский все не верил, все сильнее ходили у него скулы — верный признак волнения.

Он волновался недаром. Его продолжала окружать глухая стена недоброжелательства.

Кто придет на выставку? Что скажут о ней так называемые «великие»?

Заложив руки в карманы, он прошелся по залам выставки. Их было три. В одной помещались его рукописи и книги, в другой висели плакаты, в третьей была показана его работа в газете.

Со стен на него смотрели книги в кричащих обложках, огромные — с пола до потолка — полотнища плакатов, листовки, рекламы, газеты с напечатанными стихами. И все это написал и сделал он, Маяковский!

Он оглядывал выстроившиеся по стенам произведения, как полководец свои войска. Они разили врагов на всех фронтах, они не щадили никого и всегда участвовали в самых горячих схватках.

— А все-таки недурно старик Маяковский писал,— полушутя-полусерьезно сказал он своему помощнику.

Тот засмеялся, но не успел ответить: на лестнице послышался шум, разноголосый говор, и на пороге зала появились первые посетители.

Это были пионеры.

Они приехали целой экскурсией из Малаховки, на их бровях блестел тающий иней, и они так много и громко говорили, что стало казаться, будто на выставку пришло сразу очень много народу.

— Не замерзли? — спрашивал их Маяковский.

Он был тронут тем, что они приехали издалека, вечером, на его выставку. Пионеры окружили его. В дверях, между тем, появлялись все новые и новые посетители. Студенты. Молодые художники. Девушки. «Великих» не было, не было и журналистов, которых и ждал и опасался Маяковский.

Он прошел на эстраду. Наступила тишина.

— Для чего я устроил эту выставку? — начал Маяковский.— Я ее устроил потому, что ввиду моего драчливого характера на меня столько собак вешали, в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется — уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтоб только ругани не слышать...

При этих словах он невесело усмехнулся.

— Основная цель выставки — расширить ваше представление о работе поэта,— продолжал он,— показать, что поэт не тот, кто ходит

кучерявым барашком и блеет на лирические любовные темы, но поэт — тот, кто в нашей обостренной классовой борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения пролетариата, который не гнушается никакой черной работой, никакой темой о революции.

Маяковский говорил, а сам приглядывался, слушают ли его, хорошо ли понимают то, что он хочет сказать.

Он мог быть спокоен: его слушали, его любили, им любовались. В сером, хорошо пригнанном костюме он казался своим слушателям щеголеватым и начищенным морским судном, на котором поднят яркий флаг — галстук.

Вдруг он обернулся. В дверях стояла прямая, сухонькая старушка в черном платье.

Она тоже смотрела на Маяковского.

Огромным прыжком он соскочил с эстрады и очутился возле нее.

— Мама!

Маяковский наклонился к ней и крепко ее поцеловал. Потом, словно забыв об остальных, повел ее по залам показать выставку.

Ведь и ей о многом напоминали эти витрины! Она вместе с ним переживала и обиды цензуры и первый его успех у Горького. Она тревожилась за него, когда расцветала его шумная футуристическая слава. Она потихоньку совала ему деньги, когда никто не хотел его печатать.

Теперь он осторожно держал в своей широкой руке маленькую морщинистую ручку и вел мать сквозь толпу, как самую знаменитую и почетную гостью.

Но его требовали на сцену. От него ждали стихов.

— Некоторые мне говорят, что я стихи разучился писать и что потомки меня за это взгреют,— сказал он, оглядывая своих слушателей.— Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется «Во весь голос».

Он оперся рукой о стол. В глубочайшей тишине раздались первые слова:

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.

Люди никогда еще не слышали таких стихов. Казалось, каждое слово можно ощупать руками: такое оно было живое и осязаемое.

Стихи стоят
          свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
          и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
          к жерлу прижав жерло
нацеленных
          зияющих заглавий.

Всю свою силу поэта вложил Маяковский в последнюю поэму. В ней он говорил о себе, о двадцати годах своей работы, о славе. Он называл свои стихи войсками.

И все
     поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
          пролетали,
до самого
     последнего листка
я отдаю тебе,
     планеты пролетарий...

Он читал, и голос его отталкивался от стен, от людей и, как бумеранг, пущенный с огромной силой, наносил сокрушительный удар.

Его слушали, побледнев, с трудом переводя дыхание. И, когда он кончил, раздался такой грохот рукоплесканий, что, казалось, зашатались стены.

Стоял синий февральский вечер, когда Маяковский вышел из клуба. В домах зажигали лампы. Его желтая палка рассеянно стучала по асфальту. Он был взбудоражен, смутен, беспокоен. Только что гремели аплодисменты, только что молодежь кольцом окружала его и смотрела на него восторженными глазами...

Но ни одна газета не написала о выставке, никто не отметил его юбилея, как будто не было этих двадцати лет мужественного и боевого труда. По-прежнему он стоял в мире, как одинокая живая радиобашня, на весь мир вещая силу и славу своей страны.

«Что может хотеться этакой глыбе? — с усмешкой пробормотал он собственные стихи. — А глыбе многое хочется...»

В эту ночь он не мог уснуть. Он шагал и шагал по крохотной комнатке, он курил папиросу за папиросой. Иногда ему начинало казаться, что он снова шагает по камере сто три.

Совсем уже рассвело. Терпкий табачный дым плавал по комнате. Маяковский открыл форточку, и дым стал длинной сизой лентой выползать наружу. А вместо дыма в комнату вливался колкий вешний воздух.

Маяковский накинул пальто и вышел на крыльцо. Где-то совсем по-деревенски запели петухи. Засвистал паровоз. Маяковский стоял у двери, раздувая ноздри, ловя слабый запах городской весны.

По переулку звонко раздались шаги. Каждое утро в этот час по переулку шли комсомольцы большого завода. Их смена рано начинала работу.

Они подходили к знакомому дому и вдруг узнали великолепную большую голову, и лоб, и рот с зажатой папиросой.

— Ребята, Маяковский! — закричал высокий мальчишеский голос.— Слушайте, Маяковский, это мы про вас сочинили!

И, торжественно отчеканивая каждое слово, комсомольцы сказали хором:

Проулок, мощенный славой,
Запомните адрес все вы,
Кто там шагает правой?
Левой! Левой! Левой!

Маяковский бросил папиросу.

— Доброе утро, товарищ Маяковский! — закричали комсомольцы беспорядочно и весело, как грачи.

— Доброе утро! — сказал Маяковский и улыбнулся им так нежно и открыто, как умел он один.

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по изданию Издательство детской литературы Москва—Ленинград 1940 г.

КАЛЬМА Анна Иосифовна

БОЛЬШИЕ ШАГИ

Художник А. Туманов, редактор И. Круглик, художественный редактор Ю. Сакнынь, технический редактор Т. Меньщикова, корректоры И. Рабинович и М. Казанцева.

Подписано к печати 20/VIII 1966 г. Уч.-изд. 9,26 Бумага 70×90/16—4.87 бум.—11,4 печ. л. Тираж 50000. Изд. № С-726. Заказ 414. Цена 45 коп.

Средне-Уральское Книжное Издательство, Свердловск, ул. Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.